День двадцать шестого октября 1949-го года был не богат важными новостями. Маэстро Клементо Мануэль Салаба, шеф-редактор газеты, где я осваивал азы репортерской работы, завершил утреннюю летучку двумя-тремя обычными указаниями. Он не дал сотрудникам никаких особых поручений. Несколько минут спустя ему сообщили по телефону, что в старинном монастыре Святой Клары опустошают погребальные склепы, и он сказал мне без особого энтузиазма: «Езжай туда и посмотри, что из этого выйдет».

Исторический монастырь ордена клариссинок, столетием ранее превращенный в госпиталь, собирались продать и построить на его месте пятизвездочный отель. После частичного обрушения крыши прекрасная часовня оказалась во власти стихий, однако там по-прежнему покоились три поколения епископов и аббатис вместе с другими видными персонами. Первым делом надо было извлечь прах усопших из склепов, передать тем, кто предъявит на него права, и похоронить остальное в общей могиле.

Меня поразила примитивность подхода. Рабочие вскрывали склепы кирками и мотыгами, доставали оттуда истлевшие гробы, которые рассыпались от прикосновения, и выбирали кости из груды пыли, лохмотьев и мертвых волос. Чем именитее был покойник, тем кропотливее труд, поскольку рабочим приходилось ворошить останки и просеивать сор в поисках драгоценных камней и украшений.

Прораб переписал данные с надгробий в блокнот, сложил кости в отдельные горки и снабдил каждую из них листком бумаги с именем, чтобы прах не перемешивался. Поэтому первое, что я увидел, войдя в храм, был длинный ряд холмиков, сложенных из костей, нагретых яростным октябрьским солнцем, которое светило сквозь дырявую крышу; они отличались друг от друга лишь именами, небрежно нацарапанными на клочках бумаги. Даже полвека спустя я помню, какое смятение вызвало во мне это ужасное свидетельство разрушительного хода времени.

Среди многих других там были вице-король Перу и его тайная любовница; дон Торибио де Касерес-и-Виртудес, епископ местной диоцезы; несколько настоятельниц монастыря, в том числе мать Хосефа Миранда, и бакалавр искусств дон Кристобаль де Эрасо, посвятивший полжизни изготовлению кессонных потолков. Один из склепов был запечатан камнем с именем второго маркиза де Касальдуэро, дона Игнасио де Альфаро-и-Дуэньяс, но при вскрытии обнаружилось, что гробница пуста и никогда не использовалась. При этом останки его супруги, доньи Олайи де Мендоса, лежали рядом, под соответствующим надгробием. Прораб не придал этому обстоятельству никакого значения: южноамериканские аристократы часто готовили себе усыпальницу заранее и потом находили упокоение в другом месте.

В третьей нише главного престола, с той стороны, где хранилось Евангелие, нас ждал сюрприз. Камень раскрошился от первого же удара кирки, и из склепа хлынул поток живых волос цвета яркой меди. С помощью рабочих прораб попытался вынуть их наружу целиком, однако, сколько они ни тянули, пряди становились все длиннее и пышнее, пока на свет не показались последние локоны, а вслед за ними – череп девочки. Больше в нише ничего не нашли, кроме горстки разрозненных косточек; на тесаном камне надгробия, изъеденном селитрой, не было фамилии, одно лишь имя, данное при рождении: СИЕРВА МАРИЯ ДЕ ТОДОС ЛОС АНХЕЛЕС. Когда великолепные волосы расстелили на полу, оказалось, что длиною они двадцать два метра и одиннадцать сантиметров.

Прораб бесстрастно объяснил, что человеческие волосы отрастают на сантиметр в месяц после смерти, так что двадцать два метра за двести лет – довольно средний результат. И все же я не счел этот случай тривиальным, потому что в детстве слышал от бабушки легенду о маленькой двенадцатилетней маркизе, чьи локоны тянулись по земле, как шлейф свадебного платья. Она умерла от бешенства после собачьего укуса и почиталась в карибских селениях как святая из-за множества сотворенных ею чудес. Предположение, что в склепе похоронена именно она, стало новостью дня и легло в основу этой книги.

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИЯ МАРКЕС
Картахена-де-Индиас, 1994

О ЛЮБВИ И ДРУГИХ ДЕМОНАХ

Ибо волосы, по-видимому, в меньшей степени важны для воскрешения,
нежели иные части тела.
Фома Аквинский
«О целостности воскрешенных тел»
Вопрос 80, статья 5

Пепельно-серый пес с белой звездочкой на лбу ворвался на полную препятствий рыночную площадь в первое воскресенье декабря; опрокинув столы с жареной снедью, индейские прилавки и лотерейные киоски, он искусал четверых человек, которым случилось оказаться у него на пути. Трое из них были черными рабами. Четвертая – Сиерва Мария де Тодос лос Анхелес, единственное дитя маркиза де Касальдуэро, - пришла на рынок со служанкой-мулаткой, чтобы купить гирлянду из колокольчиков для празднования своего двенадцатого дня рождения.

Им велели не покидать пределов торговой талереи, но горничная рискнула дойти до подъемного моста в трущобах Хетсемани, привлеченная толпой в рабовладельческом порту – там по дешевке распродавали партию невольников из Гвинеи. Всю последнюю неделю судно компании «Хадитана де Негрос» ждали с ужасом, вызванным серией необъяснимых смертей на борту. Пытаясь все утаить, хозяева бросали трупы в воду без груза. Прилив увлекал со дна и выносил на пляж тела, обезображенные вздутием и странным пурпурным цветом кожи. Корабль встал на якорь, не заходя в бухту, так как все боялись эпидемии какой-нибудь африканской чумы, пока не выяснилось, что причиной смерти было пищевое отравление.

Когда пес вбежал на рынок, уцелевший живой товар уже сбыли за бесценок по причине слабого здоровья рабов, и теперь владельцы пытались возместить убытки за счет последнего лота, стоившего дороже всех остальных вместе взятых. Это была абиссинка почти двухметрового роста, с кожей, умащенной тростниковой патокой вместо обычного дешевого масла; ее красота настолько ошеломляла, что казалась нереальной, - тонкий нос, округлая голова, раскосые глаза, безупречные зубы. Осанка женщины придавала ей неуловимое сходство с римским гладиатором. Абиссинку не заклеймили в невольничьем бараке и не стали объявлять ее возраст и состояние здоровья – единственным аргументом в торгах была ее красота. Губернатор выложил за нее столько золота, сколько она весила, не торгуясь и наличными.

Бродячие псы нередко кусали прохожих в погоне за кошками или в схватке с аурами за уличные отбросы; особенно часто это случалось в пору процветания и многолюдности, когда галеоны Испанского флота приставали к берегу по дороге на ярмарку в Портобелло. Поэтому никто не стал переживать из-за четырех-пяти укусов, а уж незаметная царапина на левой щиколотке Сиервы Марии и подавно не вызвала беспокойства у служанки. Она самолично обработала ранку лимоном и серой, потом застирала пятнышко крови на нижних юбках своей юной госпожи, и они забыли обо всем, кроме предстоящего праздника в честь двенадцатилетия девочки.

Чуть ранее тем утром Бернарда Кабрера, мать девочки и тайная супруга маркиза де Касальдуэро, приняла мощное слабительное – семь горошин сурьмы в стакане подслащенной розовой воды. Родом из так называемых лавочных аристократов, в прошлом эта метиска славилась неукротимым нравом – соблазнительная, хищная и бесстыжая, с ненасытным лоном, что утолило бы похоть целой казармы. Однако неумеренная страсть к медовой браге и шоколадным плиткам всего за несколько лет превратила ее в отшельницу. Огонь ее цыганских глаз потух, остроты утратили колкость, она испражнялась кровью и отрыгивала желчь; некогда пленительное тело раздулось и приобрело медный оттенок, как трехдневный труп. Когда она пускала ветры, зловонные выхлопы приводили в смущение даже мастифов. Она почти не покидала своей спальни, а если и показывалась, то нагишом или в шелковой тунике на голое тело, в которой выглядела еще более раздетой.

К моменту, когда вернулась горничная, сопровождавшая Сиерву Марию, Бернарда уже семь раз опорожнила кишечник. Умолчав о собачьем укусе, мулатка рассказала госпоже, какой скандал разгорелся в порту вокруг черной рабыни.

– Если она так красива, как ты говоришь, то наверняка родом из Абиссинии, – сказала Бернарда. – Да будь она хоть царица Савская, кто заплатил бы за нее столько золота? Должно быть, речь шла о золотых песо.

– Нет, за черную женщину отдали столько чистого золота, сколько она весит, – уточнила служанка.

– Рабыня двухметрового роста весит не меньше ста двадцати фунтов, – сказала Бернарда. – Ни одна женщина, будь то белая или негритянка, не стоит ста двадцати фунтов золота, разве что она гадит алмазами.

Трудно было найти человека, более сведущего в работорговле, чем Бернарда, а уж она-то не сомневалась: вряд ли губернатор купил абиссинку для столь благородного занятия, как стряпня. От раздумий на эту тему ее отвлекли звуки волынки и праздничные взрывы петард, сопровождаемые яростным лаем мастифов, запертых в клетках. Она направилась в апельсиновую рощу, чтобы разузнать, в чем дело.

Дон Игнасио де Альфаро-и-Дуэньяс, второй маркиз де Касальдуэро и властитель Дарьена, тоже услышал музыку из своего гамака, подвешенного между двумя апельсиновыми деревьями. Это был изнеженный мужчина мрачной наружности, с кожей белой, как лилия, потому что нетопыри пили по ночам его кровь. Дома он носил бедуинский халат – джеллабу и толедскую биретту, что придавало ему еще более отстраненный вид. Увидев жену в чем мать родила, он предвосхитил ее вопрос:

– Что это за музыка?

– Не знаю, – ответила она. – Какой сегодня день?

Маркиз не имел понятия. Он дивился сам себе, поскольку не привык о чем-либо спрашивать жену, а та, должно быть, совсем оправилась от разлития желчи, коли ответила без привычного сарказма. Вновь раздался треск хлопушек, и маркиз, подскочив, в удивлении воскликнул:

– Боже мой! Неужели сегодня?

Особняк примыкал к женскому приюту для скорбных умом «Божественная пастушка». Пациентки, пришедшие в возбуждение от музыки и фейерверков, высыпали на террасу над апельсиновой рощей, и встречали каждую шутиху аплодисментами. Маркиз обратился к ним, желая выведать, откуда доносятся звуки веселья, и женщины подтвердили его догадку: на дворе стояло седьмое декабря, день памяти епископа Амбросе, причисленного к лику святых, а волынки с петардами возвещали о дне рождения Сиервы Марии, который шумно отмечался на половине слуг. Маркиз хлопнул себя по лбу.

– Ну конечно, – воскликнул он. – Сколько ей исполнилось?

– Двенадцать, – ответила Бернарда.

– Всего лишь двенадцать? – отозвался ее супруг, вновь откинувшись в гамаке. – Как медленно ползет жизнь!

Их дом составлял гордость Картахены вплоть до начала столетия, теперь же он являл собою меланхоличные руины; пустующие залы и беспорядочно расставленные повсюду предметы обихода наводили на мысль, что хозяева вот-вот съедут. В гостиных, однако, как и раньше красовались шахматные полы из мрамора и хрустальные люстры, драпированные паутиной. Жилые комнаты хранили прохладу в любую жару благодаря толстым каменным стенам и многолетней изоляции, но в основном это была заслуга декабрьских ветров, задувавших во все щели. Все здесь сочилось гнетущей взвесью равнодушия и уныния, и лишь пятерка мастифов, стороживших особняк по ночам, напоминала о феодальной славе.

Невольничий двор, где вовсю звенели голоса и полным ходом шло празднование в честь Сиервы Марии, стал государством в государстве еще во времена старого маркиза. Так продолжалось и при его наследнике, пока Бернарда тайно вела незаконную торговлю живым товаром и мукой из своего штаба на сахарной плантации в Махатесе, но теперь прежнее великолепие отошло в прошлое. Ненасытные желания истощили Бернарду, а невольничий двор сократился до пары дощатых хижин, крытых пальмовыми листьями, где догорали последние отблески былого величия.

Доминга де Адвиенте, могучая негритянка, до самой смерти управлявшая поместьем железной рукой, служила звеном между двумя мирами. Эта рослая, костлявая женщина, наделенная почти провидческим умом, вырастила Сиерву Марию. Доминга де Адвиенте приняла католическую веру, не отрекшись от родных йорубских божеств, и исповедовала обе религии то по очереди, то одновременно. Она утверждала, что душа ее пребывает в покое и здравии, поскольку находит в одной вере то, чего не хватает в другой. Кроме того, из всех живых существ она одна играла роль посредника между маркизом и его женой, и оба к ней прислушивались. Лишь ей было под силу выдворить метлой слуг, застигнутых ею в заброшенных комнатах, где они предавались греху содомии или совокуплялись с продажными девками. Впрочем, после ее смерти невольники вновь покинули свои хижины и пробрались в дом, ища спасения от полуденного зноя, и с тех пор завели привычку валяться по углам, растянувшись на полу, соскребать корку с горшков, где хранился рис, и поедать ее, или забавляться игрой с макуко и канарейками в прохладных коридорах. Только в этом жестоком мире, где все остальные были рабами, Сиерва Мария могла наслаждаться свободой. Именно здесь она праздновала день рождения: у себя дома, со своей настоящей семьей.

Музыка играла громко, тем удивительнее казалось, насколько бесшумно движутся в танце рабы маркиза и их приятели – слуги из других дворянских поместий, тоже чернокожие, которые пришли на торжество с нехитрыми гостинцами. Девочка показывала все, на что способна: в ее плясках было больше грациозности и огня, чем у самих негров, она умела петь на разные голоса и говорить на множестве африканских языков, подражала животным и птицам, так что те подавали голос в ответ. По распоряжению Доминги де Адвиенто младшие служанки натирали лицо Сиервы Марии сажей, они же увешивали ее сантерийскими ожерельями поверх скапулярия, надетого ей при крещении, и ухаживали за волосами, которые не знали ножниц и мешали бы девочке ходить, если бы рабыни не заплетали их в длинные косы и не укладывали кольцами.

Сиерва Мария расцветала под влиянием двух противоречивых начал. Она очень мало походила на свою мать, зато с отцовской стороны унаследовала хрупкое телосложение, безнадежную застенчивость, непроницаемый взгляд синих глаз и копну рыжих волос, отливающих чистой медью. Девочка двигалась так тихо, что казалась невидимкой; ее странные повадки внушали ужас Бернарде, и та привязала дочери коровий колокольчик на запястье, чтобы не терять ее из виду в доме, полном теней.

Два дня спустя горничная вскользь упомянула при госпоже, что Сиерву Марию покусала собака. Бернарда задумалась об этом, принимая перед сном шестую горячую ванну с ароматным мылом, но к моменту возвращения в свою комнату выкинула все из головы и не вспоминала об услышанном вплоть до следующей ночи, потому что

мастиффы лаяли до рассвета без всякой причины, и Бернарда испугалась, что они бешеные. Прихватив свечу, она отправилась к невольничьим хижинам и обнаружила спящую Сиерву Марию в гамаке из листьев королевской пальмы, полученном ею в наследство от Доминги де Адвиенто. Горничная не уточнила, где находится укус, так что Бернарда задрала ночную рубашку девочки и осмотрела при свете пламени каждый сантиметр ее кожи, двигаясь вдоль косы, посвященной деве Марии и обвивающей тело девочки, подобно львиному хвосту. В конце концов, она нашла то, что искала: крошечную ранку на левой лодыжке, покрытую запекшейся кровью, и почти незаметные царапины на пятке.

История города насчитывала слишком много случаев водобоязни, чтобы оставить их без внимания. Лучше прочих запомнилась печальная история уличного торговца, владельца ручной обезьяны, которая вела себя совершенно как человек. Зверек заразился бешенством, когда англичане осадили Картахену с моря; он укусил хозяина в лицо и скрылся в ближайших холмах. Несчастного коробейника, преследуемого кошмарными галлюцинациями, насмерть забили палками; годами позже матери пугали детей песенками о его видениях. Не прошло и двух недель, как полчище осатаневших макак спустилось с холмов средь бела дня. Они разорили несколько хлевов и курятников, а потом, воя и захлебываясь кровавой пеной, ворвались в собор, где как раз проходил благодарственный молебен в честь разгрома английского флота. Разыгрывались и более ужасные драмы, но они не входили в анналы истории, ибо жертвами их были чернокожие, похищенные соплеменниками и переправленные в поселения беглых рабов, где болезнь лечили африканской магией.

Несмотря на обилие дурных предзнаменований, люди, будь то белые, негры или индейцы, даже не задумывались о бешенстве или иных хворях из тех, что не сразу дают о себе знать, пока не появлялись первые необратимые симптомы. Бернарда Кабрера поступила точно так же. Она считала, что слуги разнесут сплетню быстрее и дальше, чем христианские изобретения, а между тем даже простого собачьего укуса хватит, чтобы нанести ущерб семейной чести. Бернарда была настолько уверена в своей правоте, что ничего не сказала мужу, да и сама забыла обо всем до следующего воскресенья, когда горничная отправилась на рынок, на сей раз одна, и увидела собачий труп, подвешенный на миндальном дереве, чтобы все знали – животное сдохло от бешенства. Мулатка с первого взгляда узнала белую звездочку на лбу и пепельно-серую шкуру пса, укусившего Сиерву Марию. Бернарду, однако, нисколько не встревожила эта новость. Она не видела повода для беспокойства: рана зажила, а от царапин не осталось и следа.

Декабрь пришел об руку с ненастьем, но бури вскоре сменились аметистовой полуденной дымкой и шаловливым ночным ветерком. Рождество принесло больше радости, чем в предыдущие годы, благодаря добрым вестям из Испании, однако город был уже не тот, что прежде. Главный невольничий рынок переехал в Гавану, а рудокопы и ранчеро с континента предпочитали покупать контрабандный живой товар по дешевке на английских Антилах. Так возникли два города: в одном, шумном и веселом, жизнь била ключом все шесть месяцев, что галеоны стояли в порту, другой же погружался в сонную дремоту на оставшиеся полгода, ожидая возвращения кораблей.

Об укушенных не доходило никаких слухов вплоть до начала января, когда бродячая индианка по имени Сагунта постучалась к маркизу в священный час сиесты. Она была древней старухой и бродила босиком под палящим солнцем, опираясь на посох из дерева каррето, завернутая с головы до пят в белую простыню. Сагунту преследовала дурная слава, поскольку она штопала незадачливых девственниц и делала аборты, но эти прегрешения с лихвой искупались индейскими секретами, которые помогали ей лечить безнадежно больных.

Маркиз появился на пороге и принял гостью с великой неохотой; ему потребовалось немало времени, чтобы понять, чего хочет старуха, потому что Сагунта предпочитала

изъясняться медленно и говорить запутанными иносказаниями. Ее речь сделала столько скачков и поворотов, что маркиз потерял терпение.

– Скажи по-человечески, зачем пришла, – велел он.

– Городу угрожает эпидемия бешенства, – ответила Сагунта, – и лишь у меня есть ключи святого Хуберта, покровителя охотников, исцеляющего водобоязнь.

– Не вижу причин для эпидемии, – сказал маркиз. – Насколько мне известно, в последнее время не предсказывали ни комет, ни затмений, а наши грехи не столь ужасны, чтобы Господь обратил на нас свой гнев.

Сагунта сообщила ему, что в марте ожидается полное солнечное затмение, и перечислила всех, кто был искусан в первое воскресенье декабря. Двое исчезли, вне всякого сомнения, их похитили сородичи, надеясь излечить при помощи магии; третий умер от бешенства спустя две недели. Четвертый бедолага, всего лишь забрызганный ядовитой собачьей слюной, лежал при смерти в госпитале Амор-де-Диос. Начальник полиции уже приказал отравить сотню уличных псов в этом месяце; еще неделя, и в городе не останется ни одной собаки.

– Как бы то ни было, я не понимаю, какое отношение это все имеет ко мне, – сказал маркиз. – Особенно в столь неурочный час.

– Ваша дочь – первая из жертв, – ответила Сагунта.

– Будь это правдой, я бы сразу обо всем узнал, – с пылкой уверенностью произнес маркиз.

Он не сомневался, что девочка пребывает в добром здравии, и тем более не допускал мысли, что такая беда могла случиться с ней без его ведома, а потому счел визит законченным и вновь предался сиесте.

Вечером, однако, он навестил Сиерву Марию в невольничьем дворе. Она помогала свежевать кроликов – босоногая, с перемазанным сажей лицом и красным негритянским тюрбаном на голове. Маркиз спросил дочь, не кусала ли ее собака, и девочка твердо ответила «нет», но тем же вечером Бернарда опровергла ее слова.

– Почему же тогда Сиерва все отрицает? – спросил изумленный маркиз.

– Потому что она не скажет правды даже по ошибке! – огрызнулась Бернарда.

– Надо что-то предпринять, – продолжал ее муж, – ведь у собаки было бешенство.

– Нет, – возразила Бернарда, – собака сдохла оттого, что укусила девчонку. Декабрь давно кончился, а этой шлюшке хоть бы что.

Оба продолжали прислушиваться к крепнущей молве об угрозе эпидемии; против собственного желания им приходилось обсуждать общие интересы, словно в те дни, когда они еще не так сильно ненавидели друг друга. Маркизу все стало ясно. Он всегда считал, что любит дочь, но опасность бешенства заставила его признаться самому себе: то была удобная ложь. Бернарда, со своей стороны, даже не задавалась этим вопросом, потому что прекрасно знала: она не любит девочку, а девочка не любит ее, и видела в этом некоторую гармонию. Изрядная доля неприязни, которую оба испытывали к Сиерве Марии, объяснялась тем, что каждый из них видел в дочери черты супруга. Тем не менее, во имя соблюдения приличий Бернарда была готова сыграть роль безутешной, убитой горем матери – с условием, что девочка умрет достойной смертью.

– Не важно, отчего, – уточнила она, – только бы не от собачьей хвори.

В этот миг маркиза будто ослепила молния, и он понял, в чем смысл его жизни.

– Девочка не умрет, – сказал он голосом, исполненным решимости. – Если же ей сужено погибнуть, то лишь Господу решать, как и отчего.

Во вторник он отправился в госпиталь Амор-де-Диос на холме Сан-Лазаро, чтобы посмотреть на больного, о котором ему рассказала Сагунта. Маркиз и не подозревал, что его карету, убранную кладбищенским крепом, сочтут за очередное предзнаменование грядущего бедствия, ибо в течение многих лет он покидал свой особняк лишь по важным поводам, и уже давным-давно не было повода важнее, чем несчастье.

Город спал в вековом оцепенении, однако нашлось достаточно любопытных, чтобы заметить испитое лицо и робкие, бегающие глаза сеньора, облаченного в траурную тафту, когда карета выехала за пределы крепостной стены и покатилась по сельской дороге к холму Сан-Лазаро. Едва маркиз вошел в госпиталь своей походкой живого мертвеца, как прокаженные, до того лежавшие на кирпичном полу, преградили ему путь, выпрашивая подаяние. Он обнаружил больного в бараке для буйнопомешанных, где тот был привязан к колонне.

Пожилой мулат с волосами и бородой, похожими на клочья ваты, страдал от паралича, но болезнь наделила живую половину тела сверхъестественной силой, и старика приходилось связывать, чтобы он не разбился насмерть, колотясь об стены. История больного не оставляла сомнений: он встал на пути той же серой дворняги с белой звездочкой на лбу, что укусила Сиерву Марию. На самом деле пес лишь брызнул на него слюной, но капли угодили прямо на хроническую язву. Эта подробность окончательно убедила маркиза, и он покинул больницу, содрогнувшись от вида умирающего и оставив последнюю надежду на выздоровление Сиервы Марии.

Возвращаясь домой горной дорогой, маркиз увидел человека внушительной наружности, сидящего на камне рядом с дохлой лошадью. Маркиз велел кучеру остановиться. Лишь когда мужчина встал, он узнал в нем лиценциата Абренунцио де Са Перейра Као, самого знаменитого и скандального лекаря в городе. Целитель был как две капли воды похож на трефового короля в своей широкополой шляпе, что служила защитой от солнца, сапогах для верховой езды и черном плаще – излюбленном одеянии ученых вольнодумцев. Он приветствовал маркиза фразой отнюдь незаурядной:

– Benedictus qui venit in nomine veritatis.

Скакун лиценциата не пережил спуска с того же холма, на который ранее поднялся бодрой рысью, – у него разорвалось сердце. Нептуно, кучер маркиза, попытался снять с трупа седло, но лекарь остановил его.

– Какой от него прок, раз седлать все равно некого, – сказал он. – Пусть гниет вместе с конем.

Возница помог тучному, несмотря на моложавость, врачу подняться в карету, а маркиз оказал ему честь, усадив по правую руку от себя. Абренунцио все думал о своем жеребце.

– Будто я лишился половины тела, – вздыхал он.

– Нет ничего проще, чем найти замену павшей лошади, – сказал маркиз.

При этих словах Абренунцио оживился.

– Это был особенный конь, – заявил он. – Будь я богат, похоронил бы его в освященной земле. – Он посмотрел на маркиза, ожидая реакции, и добавил: – В октябре ему исполнилось сто лет.

– Лошади столько не живут, – возразил маркиз.

– У меня есть доказательства, – ответил лекарь.

По вторникам он обретался в госпитале Любви Господней, врачуя прокаженных, которые страдали от иных хворей. Абренунцио был выдающимся учеником Хуана Мендеса Нието, другого португальского еврея, который эмигрировал на Карибы, спасаясь от преследований в Испании; он унаследовал дурную репутацию своего учителя из-за увлечения некромантией и злого языка, но никто не подвергал сомнению его образованность. Он беспрестанно вступал в жестокие схватки с другими врачами, которые не могли простить ему невероятные успехи и пристрастие к нетрадиционным методам. Он изобрел пилюлю, которую следовало принимать раз в год; она укрепляла здоровье и продлевала жизнь, но при этом вызывала такое буйное умопомешательство в течение первых трех дней после приема, что только сам Абренуцио и осмеливался ее глотать. Одно время он играл своим пациентам на арфе мелодии, специально сочиненные в качестве снотворного. Он никогда не оперировал, поскольку считал хирургию низменным ремеслом, пригодным лишь для шарлатанов и цирюльников, и обладал жутким даром

предсказывать больным день и час их смерти. Как добрая, так и злая молва, сопровождавшие Абренунцио, опирались на одно и то же обстоятельство: говорили, что когда-то он оживил мертвеца, и никто пока не опроверг эти слухи.

Несмотря на свой обширный опыт, Абренунцио проявил сочувствие к зараженному бешенством.

– Человеческое тело создано не для того, чтобы страдать в то время, что отпущено ему для жизни, – сказал он. Маркиз внимательно выслушал его многословные и цветистые рассуждения и заговорил лишь после того, как красноречие доктора иссякло.

– Чем можно помочь несчастному? – спросил он.

– Убейте его, – сказал Абренунцио.

Маркиз в ужасе уставился на него.

– По крайней мере, именно так следовало бы поступить доброму христианину, – безмятежно продолжал лекарь. – А добрых христиан гораздо больше, чем вы думаете, сеньор, не извольте сомневаться.

Под христианами он имел в виду бедняков всех оттенков кожи, населявших городские трущобы и сельскую местность, которые решались дать яду своим родным, страдающим водобоязнью, чтобы избавить их от мучительной смерти. В конце предыдущего столетия целая семья отравилась супом, потому что ни у кого не хватило духа отправить на тот свет пятилетнего мальчика одного.

– Людям кажется, что врачи ни о чем не подозревают, – заключил Абренунцио. – Это заблуждение, но у нас нет морального права доносить на них. Ведь мы сами делаем то, чему вы недавно стали свидетелем, – отправляем умирающих к Святому Хуберту и привязываем их к колонне, чтобы продлить и усилить их страдания.

– Разве нет другого средства? – спросил маркиз.

– После первой вспышки бешенства не поможет ничто, – сказал Абренунцио. Он упомянул несколько легкомысленных трактатов, где предлагалось лечить бешенство печеночным мхом, киноварью, мускусом, ртутным серебром и anagallis flore purpureo.

– Полная чушь, – заявил он. – Просто одни заражаются бешенством, а другие нет, и последнее проще всего списать на лекарства.

Он в упор посмотрел на маркиза, желая убедиться, что тот не спит, и спросил:

– Почему вас так волнует этот вопрос?

– Мне жаль больных, – солгал маркиз.

Он уставился в окошко, глядя на сонное море, утомленное пополуденной скукой, и с горечью отметил, что ласточки вернулись. По-прежнему царило безветрие. Стайка детей швыряла камни в пеликана, который забрел на глинистый пляж. Маркиз следил за полетом пернатого беглеца, пока тот не скрылся за сверкающими куполами города-крепости.

Карета въехала в городские стены через ворота Медиа Луна, и Абренунцио показал кучеру путь, что вел через оживленный ремесленный квартал к его жилищу. Попасть туда оказалось непростым делом. Нептуно уже минуло семьдесят, к тому же он не отличался решительностью и был близорук, да и привык, что лошадь сама находит дорогу в окрестностях, знакомых ей гораздо лучше, чем вознице. Когда они, наконец, отыскали дом лекаря, Абренунцио попрощался строкой из Горация.

– К сожалению, я совсем не знаю латыни, – извинился маркиз.

– В этом нет ни малейшей нужды! – ответил Абренунцио – разумеется, также по-латински.

Маркиз был так потрясен, что, едва вернувшись домой, совершил самый необычный поступок в своей жизни. Он велел Нептуно забрать дохлую лошадь с холма Сан Лазаро и похоронить ее в освященной земле, а на следующее утро послал Абренунцио лучшего скакуна из своей конюшни.

После недолговечного облегчения, подаренного сурьмой, Бернарда делала не менее трех лекарственных клизм в день, чтобы погасить пожар в своей утробе, и принимала по шесть горячих ванн с ароматным мылом, чтобы успокоить нервы. В ней уже ничего не осталось от прежней Бернарды, какой она была до замужества, – от женщины, которая планировала торговые авантюры, а потом осуществляла их с уверенностью прорицателя и неизменным успехом, пока в один злополучный день встреча с Иудой Искариотом не погрузила ее в пучину бед.

Она увидела его в первый раз на ярмарке, в загоне для боя быков; он голыми руками боролся со свирепым зверем, почти нагой и совсем безоружный. Он был так красив и отважен, что Бернарда никак не могла выбросить его из головы. Несколько дней спустя судьба опять свела их. Он плясал кумбию на карнавале, куда Бернарда явилась в маске и нищенских лохмотьях. Ее сопровождали рабыни, разодетые как маркизы и увешанные драгоценными ожерельями, браслетами и сережками. Иуду окружало кольцо зрителей; он танцевал с любой женщиной, готовой платить. Властям приходилось то и дело наводить порядок, чтобы усмирить его беснующихся поклонниц. Бернарда спросила, сколько он стоит. Иуда ответил, не прерывая танца:

– Полреала.

Бернарда сняла маску.

– Я хочу знать, сколько денег нужно, чтобы купить тебя со всеми потрохами.

Иуда увидел, что под маской скрывалась отнюдь не нищенка. Он бросил партнершу, подошел к Бернарде походкой заправского юнги и назвал свою цену:

– Пятьсот золотых песо.

Она смерила его придирчивым взглядом оценщика. Огромный рост, шоколадная кожа, мускулистый торс, узкие бедра, изящные ноги. Красивые кисти рук выдавали род его занятий.

– В тебе два метра росту, – прикинула Бернарда.

– И три сантиметра, – уточнил Иуда.

Бернарда заставила его наклонить голову, чтобы осмотреть зубы. От запаха его подмышек, резкого, как нашатырь, у нее закружилась голова. Все зубы были на месте, ровные и здоровые.

– Твой хозяин, должно быть, спятил. За эти деньги можно купить лошадь, – сказала она.

– Я вольный человек и продаю себя сам, – ответил Иуда и добавил с выражением: – Сеньора.

– Маркиза, – поправила она.

Он отвесил грациозный поклон, от которого у Бернарды перехватило дыхание, и она отсчитала ему половину запрошенной суммы – по ее выражению, «просто за удовольствие его видеть». В качестве ответной любезности она проявляла уважение к его статусу вольнонаемника и не возражала против схваток с цирковым быком. Она отвела ему комнату по соседству с собственными покоями. Прежде там жил главный конюх. В первую же ночь она не стала запирать дверь и легла спать голой, в полной уверенности, что Иуда явится без приглашения. Однако ждать его пришлось целых две недели, и все эти ночи она провела без сна из-за огня, пожиравшего ее изнутри.

Дело было в том, что к Иуде вернулась рабская осторожность, когда он узнал, кто такая Бернарда и увидел ее поместье. Но едва она оставила надежды, вновь надела ночную сорочку и закрыла дверь на засов, как он влез к ней через окно. Бернарда проснулась от едкого запаха его пота, наполнившего спальню. Она услышала тяжелое дыхание Минотавра, ищущего ее в темноте, ощутила знойный жар его тела, когда он прижал ее к постели; хищные руки нащупали ворот ее сорочки и разорвали до пояса, хриплый голос приговаривал: «Шлюха, шлюха». В ту ночь Бернарда поняла, что хочет заниматься только этим до конца своей жизни.

Она была без ума от своего любовника. По вечерам они ходили на танцы в городские трущобы – Иуда в обличье джентльмена, в сюртуке и круглой шляпе, которую Бернарда купила, чтобы порадовать его. Сама она поначалу сменила множество маскарадных костюмов, но потом перестала скрывать свое лицо. Она осыпала его золотыми цепочками, кольцами и браслетами, украшала бриллиантами его зубы. Узнав, что он спит с каждой встречной, Бернарда чуть не умерла, но потом смирилась и с тех пор довольствовалась тем, что оставалось на ее долю. Примерно тогда Доминга де Адвиенто и застала их; она зашла в спальню Бернарды во время сиесты, думая, что хозяйка на сахарной плантации, и увидела обнаженную пару, сплетшуюся на полу в любовном объятии. Рабыня так и застыла в дверях – скорее от смущения, чем от неожиданности.

– Что стоишь, как живой мертвец? – крикнула Бернарда. – Убирайся или ложись к нам.

Доминга де Адвиенто удалилась, громко хлопнув дверью. Для Бернарды это прозвучало, как пощечина. Вечером она вызвала рабыню к себе и пригрозила самыми страшными карами, если та начнет болтать.

– Не волнуйся, белая госпожа, – сказала служанка. – Я подчинюсь любым твоим запретам. – Потом она добавила: – Жаль, что ты не можешь запретить мне думать.

Если маркиз и знал о происходящем, то очень хорошо это скрывал. В конце концов, единственным звеном, которое связывало его с женой, была Сиерва Мария, да и ту он не считал за своего ребенка. Бернарда же и вовсе не думала о девочке. Она так далеко прогнала все мысли о дочери, что однажды, вернувшись домой после длительного пребывания на сахарной плантации, попросту не узнала ее – настолько та выросла и изменилась. Бернарда подозвала девочку, осмотрела ее и задала несколько вопросов о том, как ей живется, но не услышала ни единого слова в ответ.

– Вся в папашу, – сказала она. – Выродок.

Их отношения ничуть не изменились и в тот день, когда маркиз вернулся из госпиталя Амор-де-Диос и сообщил Бернарде, что намерен отобрать у нее бразды правления и твердой рукой навести в доме порядок. В его поспешности сквозило такое исступление, что Бернарда не нашлась с ответом.

Первым делом он переселил девочку в спальню, которая некогда принадлежала ее бабушке-маркизе, а потом и самой Сиерве Марии, пока Бернарда не отправила ее к рабыням. Под слоем пыли осталась нетронутой былая роскошь: императорских размеров кровать, которую слуги, ослепленные блеском медной рамы, считали золотой; москитный полог из свадебной фаты, богатая отделка позументом, алебастровый умывальник и бесчисленные флаконы с духами и притираниями, выстроенные в боевом порядке на туалетном столике; ночной горшок, фарфоровые плевательница и блевательница – целый иллюзорный мир. Старуха, скрюченная ревматизмом, намечтала его для дочери, которой у нее никогда не было, и внучки, которую она так никогда и не увидела.

Пока служанки восстанавливали комнату из руин, маркиз продолжал насаждать свою власть. Он разогнал рабов, дремавших в тени галереи, и пригрозил побоями и тюрьмой всем, кто впредь посмеет облегчаться по углам или проникать в запертые комнаты и резаться там в карты. Эти указы не были новостью. Им следовали с куда большим рвением в давние времена, когда Бернарда отдавала распоряжения, Доминга де Адвиенто выполняла их, а маркиз не без удовольствия публично объявлял: «В этом доме я не приказываю, а подчиняюсь». Но Бернарду поглотили зыбучие холмы какао-порошка, Доминга де Адвиенто умерла, и рабы вновь прокрались в дом, действуя с великой осторожностью: сначала женщины привели детей, чтобы те помогали по мелочам, потом появились мужчины, оставшиеся без работы и привлеченные прохладой коридоров. Ужаснувшись размерам упадка, Бернарда отправила слуг просить подаяния, чтобы те могли хоть как-то прокормиться. Во время одного из своих приступов она хотела было

дать им всем вольную, оставив только двух-трех горничных, но маркиз воспротивился, приведя своеобразный довод:

– Если им суждено погибнуть от голода, то пусть лучше умирают здесь, а не среди чужих людей.

Когда Сиерву Марию укусила бешеная собака, маркиз не ограничился простыми решениями. Он наделил особыми полномочиями слугу, который, судя по всему, пользовался наибольшим авторитетом и внушал доверие, и дал ему такие суровые инструкции, что даже Бернарда пришла в замешательство. После наступления темноты, когда в доме впервые со дня смерти Доминги де Адвиенто воцарился порядок, он нашел Сиерву Марию в невольничьей хижине вместе с полудюжиной молодых негритянок, которые спали в гамаках, подвешенных вдоль и поперек на разной высоте. Маркиз разбудил их всех, чтобы известить о новых правилах.

– Отныне девочка живет в доме, – сказал он. – И да будет известно всем в этом королевстве: у нее только одна семья, и эта семья белая.

Он попытался отнести дочь в спальню на руках. Девочка отбивалась, и ему пришлось внушить ей, что слово мужчины – закон. Когда оба наконец оказались в бабкиных покоях, маркиз стянул с Сиервы Марии холщовую рубаху и облачил ее в ночную сорочку, но не добился от нее ни слова. Бернарда издали наблюдала, как муж сражается с пуговицами, которые никак не проходили сквозь тугие петли новой сорочки. Девочка стояла перед ним с безучастным выражением лица.

– Почему бы вам с ней не пожениться? – не выдержала Бернарда. Маркиз не обратил на нее внимания, и она добавила:

– Сплошная выгода – наплодите креольских маркизиков с куриными лапами и продадите их в цирк.

Бернарда тоже изменилась. Ее издевательский хохот звучал по-прежнему, но из взгляда ушла былая горечь, а в глубокой бездне равнодушия появился осадок жалости, которую маркиз так и не заметил. Услышав, что жена ушла, он сказал девочке:

– Она – потаскуха.

Ему показалось, что в ее глазах мелькнула искра интереса.

– Ты понимаешь, что это значит? – спросил он, с нетерпением ожидая ответа, но Сиерва Мария не оказала ему такой чести. Она позволила уложить себя в постель, покорно опустила голову на пуховые подушки и не возражала, когда он накрыл ее до колен тонкой льняной простыней, пропитанной ароматом кедрового сундука, но так и не удостоила его ни единым взглядом. Маркиз почувствовал угрызения совести.

– Ты молишься перед сном?

Девочка даже не взглянула в его сторону. Она привыкла спать в гамаке, поэтому скорчилась в позе эмбриона и заснула, не пожелав отцу спокойной ночи. Маркиз с великим тщанием задернул москитный полог, чтобы летучие мыши не высосали кровь девочки, пока она спит. Было почти десять вечера, и хор умалишенных звучал невыносимо громко в доме, опустевшем после изгнания рабов.

Маркиз выпустил мастифов. Те с пыхтением бросились к бабкиной спальне и, скуля, обнюхали дверные щели. Маркиз почесал их за ухом кончиками пальцев и сообщил добрую весть:

– Это Сиерва, теперь она будет жить с нами.

Его сон был недолог и прерывист, потому что сумасшедшие распевали до двух часов ночи. Проснувшись с петухами, он первым делом пошел проведать Сиерву Марию, но в спальне ее не оказалось. Он нашел ее в хижине, где жили рабыни. Та, что спала рядом с девочкой, проснулась и в испуге закричала, не дожидаясь, пока маркиз заговорит:

– Она сама пришла, сеньор! Я даже не заметила ее.

Маркиз знал, что это правда. Он спросил, кто был с Сиервой Марией, когда ее укусила собака. Единственная среди рабынь мулатка по имени Каридад дель Кобре выступила вперед, дрожа от страха. Успокоив ее, маркиз сказал:

– Заботься о ней, как это делала Доминга де Адвиенто.

Он объяснил служанке, что от нее требуется, велев ни на секунду не спускать с девочки глаз и обращаться с ней по-доброму, но не баловать. Сиерве Марии строго-настрого запрещалось выходить за терновую изгородь, которой маркиз намеревался отделить невольничий двор от остального поместья. Каждое утро после пробуждения девочки и по вечерам, когда она ложилась спать, рабыне следовало предоставлять ему полный отчет, не дожидаясь особых распоряжений.

– Будь осторожна в своих намерениях и поступках, – сказал маркиз напоследок. – Ты несешь полную ответственность за то, чтобы мои приказы выполнялись должным образом.

В семь утра, заперев собак в клетках, маркиз отправился к Абренунцио. Доктор сам открыл ему, поскольку у него не было ни рабов, ни слуг. Маркиз начал с упрека самому себе.

– Неподходящий час для визита, – сказал он.

Лекарь, исполненный признательности за лошадь, полученную в дар от маркиза, принял его с распростертыми объятиями. Он провел гостя через двор к полуразвалившейся кузнице, от которой остались только стены да обветшавший плавильный горн. Ладный гнедой двухлетка не находил себе покоя на новом месте. Абренунцио ласково похлопал животное по щеке, нашептывая ему в ухо пустые обещания на латыни.

Маркиз сообщил ему, что мертвого коня похоронили в бывшем саду госпиталя Амор-де-Диос, который освятили и отдали под кладбище для богачей во время эпидемии холеры. Доктор поблагодарил его за чрезмерную доброту. Во время беседы он обратил внимание, что маркиз держится поодаль от лошади, и тот признался, что никогда не решался ездить верхом.

– Я боюсь лошадей не меньше, чем куриц, – сказал он.

– Очень жаль, ведь недостаток общения с лошадьми тормозит развитие человечества, – изрек Абренунцио. – Преодолев этот барьер, мы сумели бы вывести кентавра!

Внутреннее убранство дома, залитого светом из двух окон, выходящих на океан, несло на себе печать излишне утонченного вкуса, свойственного убежденным холостякам. Воздух был пропитан мятным ароматом, что внушало веру в силу медицины. Рядом с опрятным письменным столом высился стеклянный шкаф с фарфоровыми сосудами, снабженными латинскими подписями. Сосланная на покой целебная арфа, покрытая золотой пылью, ютилась в углу. Однако главной достопримечательностью были книги, большей частью на латыни, с изукрашенными корешками. Они стояли за стеклянными дверцами, пылились на открытых полках, лежали аккуратными стопками на полу, и лекарь передвигался по узким бумажным ущельям с изяществом носорога в розовом саду. Обилие фолиантов изумило маркиза.

– Должно быть, в этой комнате собрана вся мудрость мира, – сказал он.

– От книг никакого прока, – весело сказал Абренунцио. – Только жизнь научила меня лечить увечья, которые наносят своими снадобьями другие лекари.

Он согнал кошку, спавшую в большом хозяйском кресле, и усадил в него маркиза, затем угостил его травяным отваром, приготовленным на алхимической горелке, и принялся рассказывать о своем врачебном опыте, пока ему не показалось, что собеседник утратил интерес. Действительно, маркиз внезапно встал и подошел к окну, глядя на бурное море. Наконец он нашел в себе силы, чтобы заговорить, так и не повернувшись к лекарю.

– Доктор…

– М-м-м? – отозвался Абренунцио. Он не ожидал, что маркиз подаст голос.

– Полагаясь на святость врачебной тайны, сообщаю вам по секрету: люди говорят правду, – торжественно произнес маркиз. – Мою дочь тоже укусила бешеная собака.

Он взглянул на врача и не увидел на его лице ни тени изумления.

– Я знаю, – сказал Абренунцио. – Полагаю, потому вы и явились сюда в столь ранний час.

– Верно, – подтвердил маркиз и повторил вопрос, который задал вчера о больном из госпиталя Амор-де-Диос: – Что можно сделать?

Абренунцио не стал напоминать ему о своем жестоком совете; вместо этого он спросил разрешения осмотреть Сиерву Марию. Именно этого и хотел маркиз, так что они в полном согласии проследовали к карете, что ждала их у порога.

Дома маркиз застал Бернарду перед туалетным столиком. Она укладывала волосы, словно ее прическа кому-то была небезразлична, с кокетством тех давних лет, когда они в первый раз занимались любовью. Он давно стер это воспоминание из своей памяти. Воздух в комнате был напоен весенним ароматом душистого мыла. Увидев отражение мужа в зеркале, Бернарда сказала:

– Разве мы богачи, чтобы раздавать лошадей направо и налево?

В ее голосе не было прежней едкости. Маркиз уклонился от ответа. Он поднял с неубранной постели домашнюю тунику, швырнул ее в Бернарду и без всякого сочувствия приказал:

– Оденься, к нам пришел врач.

– Сохрани меня Господь, – сказала Бернарда.

– Да не к тебе, хотя не помешало бы. Он осмотрит девочку.

– Ей это не поможет, – заявила Бернарда, – либо она умрет, либо выживет, третьего не дано. – Но затем любопытство одержало над ней верх:

– Кто это?

– Абренунцио, – ответил маркиз.

Бернарда пришла в ужас. Она предпочла бы умереть сию же минуту, голая и в одиночестве, чем доверить свою честь алчному еврею. Абренунцио состоял лекарем при ее родителях, но те отказались от его услуг, так как он разглашал диагнозы своих пациентов в угоду врачебному тщеславию. Маркиз стоял на своем.

– Ты ее мать, как бы тебе, а уж тем более мне ни хотелось забыть об этом, – сказал он. – Заклинаю твоим священным правом – дай согласие на осмотр.

– Делай, что тебе заблагорассудится, – ответила Бернарда. – Мне все равно конец.

Вопреки ожиданиям девочка послушно позволила тщательно обследовать свое тело, проявив к врачу не больше интереса, чем к заводной игрушке.

– Доктора видят руками, – сказал ей Абренунцио.

Это позабавило девочку, и она впервые улыбнулась ему.

Наружность Сиервы Марии откровенно свидетельствовала о добром здоровье: несмотря на отсутствующий вид, она была пропорционально сложена, вся покрыта почти невидимым золотистым пушком и демонстрировала первые признаки грядущего цветения. Зубы ее отличались безупречностью, глаза смотрели ясным взглядом, ноги не дрожали, а руки были проворны, и каждая прядь волос сулила долгую жизнь. Она отвечала на вопросы лекаря доброжелательно и с большой уверенностью; надо было очень хорошо ее знать, чтобы понять – в ее словах не было ни капли правды. Девочка насторожилась лишь тогда, когда врач обнаружил крохотный шрам на ее лодыжке. Абренунцио доказал свою проницательность, спросив:

– Ты упала?

Девочка утвердительно кивнула, даже не моргнув:

– Да, с качелей.

Доктор принялся беседовать сам с собой на латыни.

– Говорите по-испански, – запротестовал маркиз.

– Я сейчас разговариваю не с вами, – сказал Абренунцио. – Я думаю на вульгарной латыни.

Сиерву Марию развлекали уловки Абренунцио, пока он не прижал ухо к ее груди. Сердце ее забилось в тревоге, а на вмиг побледневшей коже проступил ледяной пот, источавший слабый запах лука. Закончив, доктор ласково похлопал ее по щеке:

– Ты очень храбрая.

Оставшись наедине с маркизом, он сообщил ему, что девочка знает: собака была бешеная. Маркиз не понял его.

– Она солгала вам во всем, кроме этого, – возразил он.

– Ее сердце рассказало мне правду, сеньор, – ответил лекарь. – Оно прыгало, как лягушонок в клетке.

Маркиз остановился мыслью на изобретательности, которую проявляла его дочь, сочиняя удивительные небылицы, при этом он ощутил скорее родительскую гордость, чем неудовольствие.

– Быть может, она станет поэтом, – сказал он.

Абренунцио не считал, что склонность ко лжи свидетельствует о творческой одаренности.

– Чем прозрачнее слог, тем очевиднее поэтический дар.

Единственной загадкой для него был луковый дух, исходивший от пота Сиервы Марии. Поскольку доктор не слыхал о какой-либо связи между этим запахом и водобоязнью, то отказался считать его симптомом. Позже Каридад дель Кобре призналась маркизу, что Сиерва Мария тайно доверилась врачебному искусству черных рабов, а те дали ей пожевать пасты манаху и посадили голышом в погреб, где хранился лук, чтобы снять порчу, наведенную собакой.

Абренунцио говорил о бешенстве без малейших прикрас.

– Чем глубже укус и чем ближе он к мозгу, тем раньше и опаснее первый припадок, – сказал он, потом поведал об одном из своих пациентов, который умер спустя пять лет после заражения, хотя, возможно, подцепил перед тем сопутствующую инфекцию, оставшуюся незамеченной. То, что рана стремительно зажила, ни о чем не говорило: спустя неопределенное время рубец может снова воспалиться, разойтись и начать гноиться. Агония так ужасна, что даже смерть предпочтительнее. В рамках закона оставалось лишь одно – обратиться в госпиталь Амор-де-Диос, там имелся сенегалец, обученный усмирять еретиков и буйнопомешанных. В ином случае маркизу придется самому взвалить на себя ужасное бремя и привязывать девочку к кровати, пока она не умрет.

– За всю долгую историю человечества не выжил ни один больной бешенством, – сказал он в заключение.

Маркиз решил, что готов нести свой крест, каким бы тяжким он не оказался. Девочка умрет дома. Доктор одарил его взглядом, в котором было больше сочувствия, нежели уважения.

– От вас, сеньор, я не ожидал меньшего благородства, – сказал он. – Не сомневаюсь, что ваш дух выдержит все испытания.

Он вновь повторил, что прогноз не внушает опасений: укус находится далеко от области наибольшего риска, к тому же никто не помнил, чтобы из раны шла кровь. Вероятнее всего, Сиерва Мария не заразится.

– И как же нам быть? – спросил маркиз.

– Развлекайте ее музыкой, наполните дом цветами и пением птиц, ходите с ней к океану смотреть на закат солнца, пробуйте все, что может сделать ее счастливой. – В знак прощания Абренунцио взмахнул шляпой и изрек очередную латинскую фразу. На этот раз он любезно перевел ее маркизу:

– Где не справится счастье, там медицина бессильна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Никто не знал, почему маркиз так опустился и зачем он жил в столь неблагополучном браке, тогда как самым очевидным уделом для него было мирное вдовство. Он мог бы выбрать себе любую судьбу, такие привилегии давала ему безграничная власть отца – первого маркиза, рыцаря Ордена Сантьяго, безжалостного работорговца и свирепого надсмотрщика, которого король осыпал почестями и наградами, закрывая глаза на все его преступления.

Игнасио, единственный его наследник, не подавал никаких надежд. Он рос, проявляя несомненные признаки умственной отсталости, оставался неграмотным до самого совершеннолетия и никого не любил. Впервые он проявил интерес к жизни в двадцать лет, когда принялся ухаживать за одной из пациенток приюта для умалишенных »Божественная пастушка», чьи песни и вопли служили ему все детство колыбельными, и собрался было на ней жениться. Ее звали Дульче Оливия. Единственное дитя в семье королевского шорника, она была вынуждена освоить искусство изготовления седел, чтобы почти двухсотлетняя традиция не умерла вместе с ней. Именно посвящением в мужское ремесло и объясняли ее умопомешательство, которое приняло такие масштабы, что стоило немалого труда отучить ее поедать собственные нечистоты. За исключением этого обстоятельства она составила бы отличную пару слабоумному креольскому маркизу.

Дульче Оливия обладала проницательностью и сильным характером, уличить ее в безумии было нелегко. Увидев девушку в первый раз, юный Игнасио уже без труда выделял ее из шумной толпы безумных женщин, теснящихся на террасе; с того самого дня они общались знаками. Дульче Оливия, искусная в складывании бумажных фигур, отправляла ему послания в виде птичек. Он научился читать и писать, чтобы отвечать ей, и это положило начало закономерной страсти, к которой, однако, никто не желал отнестись с пониманием. Придя в ярость, старый маркиз потребовал, чтобы сын публично опроверг все слухи.

– Это правда, – сказал Игнасио. – Более того, она позволила мне просить ее руки.

В ответ на довод, что его избранница умалишенная, он заявил:

– Сумасшедшие вполне разумны, если принять ход их мыслей.

Властью господина и повелителя, которой Игнасио не смел прекословить, отец сослал юношу в свое сельское поместье. Изгнание обернулось для молодого маркиза сущей пыткой – он до смерти боялся любых тварей, кроме цыплят. В деревне, однако, он впервые увидел живого цыпленка вблизи, увеличил его в своем воображении до размеров коровы и понял, что перед ним самый кошмарный из монстров, когда-либо порожденных землей и морем. Игнасио покрывался ледяным потом во мраке ночи и просыпался на заре от удушья, в такой ужас приводила его призрачная тишина окрестных пастбищ. Больше всего маркиза пугало присутствие охотничьего мастифа с немигающим взглядом, который охранял его спальню. Как-то он сказал: «Я живу в страхе перед самой жизнью». В ссылке он и приобрел мрачную наружность, осторожные повадки, задумчивость, томные манеры, медленную речь и склонность к мистицизму, которые, казалось, обрекали его на существование в монастырской келье.

Когда первый год изгнания подходил к концу, Игнасио проснулся от шума, подобного гулу наводнения: все животные, какие только были в поместье, покинули свои стойла и в полном молчании шествовали по полям, залитым светом полной луны. Без единого звука, топча все, что преграждало им путь, звери шли через пастбища и заросли сахарного тростника, пересекали бурные реки и топкие болота. Исход возглавляли стада рогатого скота, рабочие и верховые лошади, за ними следовали свиньи, овцы и домашняя птица, вытянувшись в зловещую цепочку, которая растворялась в ночи. Исчезли даже летающие пернатые, включая голубей. Один только мастиф остался на своем посту перед хозяйской спальней. Так началась почти человеческая дружба между собакой и маркизом, которую тот поддерживал и с многочисленными преемниками первого пса.

Вне себя от ужаса, который внушали ему опустевшие владения, Игнасио-младший отрекся от своей любви и подчинился отцовской воле. Старик, однако, не

удовольствовался этим жертвоприношением и потребовал отдельным пунктом в своем завещании, чтобы сын сочетался браком с наследницей испанского гранда. Так, после пышной свадьбы, маркиз оказался женатым на донье Олайе де Мендоса, женщине редкой красоты и разнообразных талантов, чью девственность он оставил нетронутой, отказав ей даже в счастье материнства. В целом же он остался тем, кем был с самого рождения: никчемным холостяком.

Донья Олайя де Мендоса вывела его в свет. Супруги посещали торжественную мессу, скорее, чтобы показаться на людях, чем из благочестия, – донья Олайя в сборчатых юбках, роскошных палантинах и накрахмаленной кружевной мантилье кастильской дворянки, окруженная рабынями, разряженными в золото и шелка. Вместо домашних туфель, которые надевали в церковь даже самые привередливые из местных дам, она щеголяла высокими сапожками кордовской кожи, шитыми жемчугом. В отличие от прочих благородных сеньоров, хранивших верность старомодным парикам и изумрудным пуговицам, маркиз появлялся на публике в одежде из хлопка и мягком берете. Впрочем, светские мероприятия всегда были ему в тягость, ибо он так и не поборол в себе страх перед общественной жизнью.

В родной Сеговии донья Олайя училась у самого Доменико Скарлатти; почетным итогом занятий стала грамота, дающая ей право преподавать музыку и пение в школах и монастырях. Она привезла с собой из Испании разобранный на части клавикорд, который сама собрала, а также различные струнные инструменты, на которых играла с великим мастерством и столь же виртуозно обучала этому искусству других. Донья Олайя составила ансамбль из послушниц, и вместе они посвящали вечера в маркизовом доме новым мелодиям из Италии, Франции и Испании, а люди говорили, что их вдохновляет Божья благодать.

Маркиз производил впечатление человека, непригодного к музицированию; по французскому выражению, у него были руки художника и слух артиллериста. Но с того дня, как инструменты покинули свои футляры, он проявлял интерес к итальянской лютне – теорбе, привлеченный затейливой двойной шейкой, длинным грифом, обилием струн и чистотой тона. Донья Олайя постановила, что научит его играть не хуже, чем она сама, и с тех пор супруги проводили каждое утро под сенью фруктовых деревьев, шаг за шагом преодолевая упражнения, – она с любовью и терпением, маркиз с упорством каменотеса, пока скорбный мадригал не поддался, наконец, их настойчивости.

Музыка оказала такое благотворное влияние на их брак, что донья Олайя осмелилась предпринять решительный шаг и восполнить главное упущение. Однажды ночью, когда снаружи бушевала гроза, она вторглась в спальню своего девственного мужа, охваченная страхом, возможно, притворным.

– Мне принадлежит половина этой постели, – заявила она, – и я пришла, чтобы предъявить свои права.

Маркиз держал оборону, но донья Олайя, убежденная, что сумеет переубедить его не мытьем, так катаньем, не отступала. Увы, жизнь не отпустила им достаточный срок. Девятого ноября, когда они играли дуэтом под апельсиновым деревом, радуясь свежести воздуха и высокому, безоблачному небу, сверкнула ослепительная вспышка, земля под ногами дрогнула, и донья Олайя упала замертво, пораженная молнией.

Перепуганный город объяснял трагедию излиянием божественного гнева, вызванного каким-то непростительным грехом. Маркиз устроил королевские похороны, на которых впервые появился в черной тафте, с лицом, залитым восковой бледностью. Таким его и видели впредь. Вернувшись с кладбища, он был поражен: на апельсиновые деревья в саду снеговым облаком опустилась целая стая бумажных птичек. Поймав одну, он развернул ее и прочел: «Молния – моих рук дело».

Прежде чем миновали девять дней траура, маркиз пожертвовал Церкви земли, которые составляли блистательную основу его наследства: ранчо в Момпоксе, еще одно в Айяпеле и две тысячи гектаров земли в Махатесе, всего в двух лигах от города, а также

несколько табунов верховых и выставочных лошадей, ферму и лучшую сахарную плантацию на карибском побережье. Слухи о его баснословном богатстве возникли благодаря огромным земельным владениям, чьи умозрительные границы терялись за топями Ла Гуарипы и долинами Ла Пурецы, с другой стороны простираясь до мангровых болот Урабы. Маркиз оставил за собой одно лишь фамильное поместье, урезав штат прислуги до нескольких человек, да сахарную плантацию в Махатесе. Управление домом он поручил Доминге де Адвиенто. Старик Нептуно сохранил место кучера, пожалованное ему еще прежним хозяином; маркиз доверил его заботам то немногое, что осталось от господских конюшен.

Впервые оказавшись в одиночестве в мрачном особняке своих предков, маркиз не мог спать в темноте из-за врожденного страха, присущего креольской знати: он боялся, что рабы прикончат его в собственной постели. Он просыпался в испуге, чувствуя на себе взгляд воспаленных глаз, и гадал, от сего ли мира их обладатель. На цыпочках подкравшись к двери, маркиз рывком открывал ее и заставал врасплох слугу, шпионившего за ним сквозь замочную скважину. Он слышал, как негры, голые и умащенные кокосовым маслом, чтобы легче было вывернуться при поимке, тигриными скачками скользят по коридорам. Обуреваемый множеством разнообразных страхов, он приказал, чтобы лампы горели до рассвета, выдворил рабов, которые мало-помалу заселяли пустующие комнаты, и завел первых мастифов, обученных боевому искусству.

Парадный вход заперли, французскую мебель, обитую пропахшим сыростью бархатом, убрали с глаз долой, гобелены, фарфор и шедевры часового искусства продали, а в разоренных спальнях повесили веревочные гамаки, чтобы спасаться от жары. Маркиз не посетил больше ни одной мессы, он не давал обетов отшельничества, не помогал нести святой покров во время процессий, не чтил праздники и не соблюдал постов, однако исправно платил церковную десятину. Найдя убежище в гамаке, жаркой августовской порой он укрывался в спальне, а в остальном неизменно предавался сиесте в тени апельсиновой рощи. Сумасшедшие швырялись в него кухонными отбросами и осыпали ласковыми непристойностями, но когда власти любезно предложили маркизу переселить дом скорби в другое место, он отказался из благодарности к его обитательницам.

Дульче Оливия была сломлена отпором мужчины, которого она так долго добивалась, и нашла утешение в ностальгии по прошлому, которого никогда не было. При любой возможности она убегала из лечебницы «Божественная пастушка» сквозь бреши в живой изгороди. Ей удалось усмирить мастифов и приручить их силой своей целомудренной любви; с тех пор она проводила все часы, отведенные для сна, обихаживая дом, который ей не принадлежал, подметая полы веником из сладкого базилика на счастье и развешивая гирлянды чеснока в спальнях, чтобы отвадить комаров. Доминга де Адвиенто, ничего не оставлявшая на волю случая, так и умерла, не узнав, почему коридоры на заре были чище, чем накануне вечером, а вещи, собственноручно расставленные ею по местам, на следующее утро стояли по-другому. Маркиз не вдовел еще и года, когда в первый раз застал Дульче Оливию на кухне, где она драила кастрюли и сковородки, по ее мнению, плохо вычищенные рабынями.

– Не думал, что ты так далеко зайдешь, – сказал он.

– Это потому что ты все то же ничтожество, каким всегда был, – ответила она.

Так они возобновили запретную дружбу, которая, по крайней мере, однажды походила на любовь. Они беседовали ночами напролет, не питая ни иллюзий, ни враждебности, как пожилые супруги, погрязшие в рутине. Оба думали, что это счастье, а может, и были счастливы, пока кто-то из них не сказал лишнего или, наоборот, не промолчал, где не надо, и ночь обернулась битвой вандалов, которая повергла мастифов в смятение.

Маркиз признался подруге, что его презрение к мирским благам и перемены в образе жизни – следствие не набожности, а страха, вызванного внезапной утратой веры, которую

он пережил, увидев обугленное молнией тело жены. Дульче Оливия предложила ему утешение, обещав покорно служить на кухне и в постели, но маркиз не поддавался.

– Я никогда больше не женюсь, – поклялся он.

Тем не менее, не прошло и года, как он тайно обвенчался с Бернардой Кабрерой, дочерью одного из бывших отцовских надсмотрщиков, который сколотил состояние на привозных товарах. Они повстречались, когда отец Бернарды послал ее в господский дом с соленой селедкой и черными маслинами, к которым питала слабость донья Олайя; когда та умерла, Бернарда продолжала носить их маркизу. Однажды вечером она обнаружила его в гамаке, среди фруктовых деревьев, и прочитала судьбу, начертанную на его левой ладони. Маркиза так впечатлила точность ее рассказа, что с того дня он всегда посылал за ней в часы сиесты, даже если не собирался ничего покупать. Так прошло два месяца, но маркиз не предпринимал никаких дальнейших шагов, и тогда Бернарда взяла дело в свои руки. Она прыгнула в гамак, оседлала маркиза, заткнула ему рот подолом его же джеллабы и довела до полного изнеможения, а потом вернула к жизни с таким пылом и сноровкой, каких он и представить себе не мог, пожиная скудные радости одинокой любви, и лишила невинности самым бесславным образом. Ему было пятьдесят два, ей двадцать три, но возраст был самым безобидным различием между ними.

Они продолжали свои торопливые, безлюбые упражнения во время сиесты, в библейской тени апельсиновых деревьев. Сумасшедшие поощряли их со своих террас, распевая неприличные песни и приветствуя триумфы любовников бурными овациями. Прежде, чем маркиз успел осознать, какая опасность его подстерегает, Бернарда вывела его из оцепенения, сообщив, что уже два месяца как беременна, и напомнила, что она не какая-то там негритянка, а дочь хитроумного индейца и белой женщины из Кастилии, и лишь игла законного брака может залатать ее девичью честь. Маркиз не подпускал ее к себе, пока в один прекрасный день в парадную дверь не постучал ее отец с древней аркебузой на плече. Говорил он медленно, вел себя учтиво и вручил маркизу оружие, не глядя ему в глаза.

– Знаете ли вы, что это, сеньор маркиз? – спросил он.

Маркиз понятия не имел, что делать с рухлядью, которая оказалась у него в руках.

– Если я не ошибаюсь, это аркебуза, – сказал он, затем добавил с искренним недоумением: – На что она вам?

– Для защиты от пиратов, сеньор, – ответил индеец, по-прежнему не глядя на маркиза. – Я принес ее в надежде, что ваше превосходительство изволит оказать мне честь и убить меня, прежде чем я сам вас прикончу.

Умолкнув, он наконец устремил на маркиза скорбный взгляд, и тот понял без слов, о чем говорили узкие глаза гостя. Вернув аркебузу хозяину, маркиз пригласил его отметить сделку. Два дня спустя священник из соседней церкви провел свадебную церемонию, на которой присутствовали родители Бернарды со своими крестными. Когда бракосочетание подошло к концу, невесть откуда возникла Сагунта и увенчала жениха с невестой праздничными венками.

Однажды утром, когда бушевал запоздалый ливень, под знаком Стрельца на свет появилась Сиерва Мария де Тодос лос Анхелес – тощий, недоношенный младенец, более всего похожий на белесого головастика. Пуповина обвилась вокруг ее шеи, не давая вдохнуть.

– Это девочка, – сказала повитуха, – правда, все равно не жилица.

Тогда-то Доминга де Адвиенто и посулила своим богам, что ножницы не коснутся волос девочки до первой брачной ночи, если она выживет. Не успела она произнести клятву, как ребенок закричал. Доминга де Адвиенто издала ликующий вопль:

– Она будет святой!

Маркиз, впервые увидевший дочь после купания и в пеленках, не блистал даром предвидения.

– Шлюхой она будет, если, конечно, Господь дарует ей жизнь и здоровье, – сказал он.

Девочка, рожденная от аристократа и простолюдинки, вела жизнь подкидыша. Мать возненавидела малышку в тот же миг, когда в первый и последний раз взяла ее на руки, и потребовала унести младенца с глаз долой, чтобы ненароком его не прибить. Доминга де Адвиенто выкормила девочку, крестила ее и посвятила Олокуну – йорубскому божеству неопределенного пола, чей лик по слухам столь ужасен, что увидеть его можно лишь во сне, ибо в остальное время он скрыт маской. Пересаженная, подобно растению, на благодатную почву невольничьего двора, Сиерва Мария научилась танцевать прежде, чем обрела дар речи, заговорила на трех африканских языках одновременно, привыкла пить свежую петушиную кровь перед завтраком и проскальзывать под носом у добрых христиан бесшумно и незаметно, как бесплотный дух. Доминга де Адвиенто окружила девочку свитой негритянок, метисок и индейских девчонок на побегушках, которые омывали ее водами искупления, освежали вербеной Йемайи и холили водопад ее волос, к пяти годам ниспадавший до талии, словно то был розовый куст.

Бернарда правила домом твердой рукой, пока маркиз прохлаждался во фруктовом саду. Вооружившись именем первого маркиза как щитом, она занялась восстановлением богатств, пущенных на ветер мужем. В свое время старый маркиз получил лицензию на продажу пяти тысяч рабов в течение восьми лет, взамен обязавшись ввозить по два бочонка муки за каждого чернокожего. Прибегнув к виртуозному мошенничеству и продажности таможенных агентов, он сбыл положенное количество муки, а заодно тайно ввез и продал на три тысячи больше невольников, чем позволял контракт, став самым удачливым работорговцем века.

Бернарда сообразила, что основной барыш приносила мука, а не рабы, хотя на самом деле секрет успеха таился в ее невероятном даре убеждения. Располагая лицензией на ввоз тысячи негров в течение четырех лет и трех бочонков муки за каждого раба, она провернула небывалую аферу: продав условленное количество рабов, ввезла двенадцать тысяч бочек муки вместо трех. Это была крупнейшая контрабандистская операция за все столетие.

В те годы она подолгу пропадала на сахарной плантации в Махатесе, где обустроила себе штаб-квартиру, поскольку близость великой реки Магдалены благоприятствовала любым перемещениям в пределах вице-королевства. Случайные известия о торговых удачах Бернарды порой достигали маркиза, но сама она ни перед кем не отчитывалась. Возвращаясь в поместье, она становилась похожа на мастифа взаперти, даже в те времена, когда приступы болезни еще не донимали ее. По меткому выражению Доминги де Адвиенто, ее задница перевешивала все остальное.

Когда рабыня умерла и роскошная опочивальня старой маркизы поступила в распоряжение Сиервы Марии, девочка впервые заняла подобающее положение в доме. Ей наняли гувернера, чтобы тот познакомил ее с классическим испанским языком, а также основами арифметики и естественных наук. Педагог попытался научить Сиерву Марию читать и писать, но она отказалась, сказав, что не понимает букв. Светская учительница посвятила ее в искусство музыки. Девочка проявила интерес и тонкий вкус, но ей не хватало терпения, чтобы овладеть каким-либо музыкальным инструментом. Охваченная страхом наставница уволилась, на прощание сказав маркизу:

– Дело не в том, что у вашей дочери нет способностей, просто она не от мира сего.

Бернарда надеялась усмирить свою злобу по отношению к девочке, но вскоре стало ясно, что никто из них не виноват: причина крылась в натуре обеих. С тех пор, как Бернарда обнаружила в дочери определенное сходство с призраком, она вздрагивала от каждого шороха. Ее трясло мелкой дрожью от одного воспоминания о всех тех случаях, когда она внезапно оборачивалась и ловила на себе непроницаемый взгляд бледного существа, облаченного в прозрачный тюль, с неукротимой копной волос, которые доросли уже до колен.

– Девчонка! – вопила Бернарда. – Я запретила тебе так на меня смотреть!

Даже с головой уйдя в торговые дела, она чувствовала затылком свистящее дыхание змеи, притаившейся в засаде, и в ужасе шарахалась.

– Девчонка! – кричала она. – Давай о себе знать, прежде чем войти!

И девочка подстегивала ее страх, разражаясь вереницей проклятий на йоруба. Ночами бывало еще хуже – Бернарда в испуге просыпалась от легкого прикосновения и обнаруживала, что девочка стоит в изножье кровати, пристально глядя на спящую мать. Попытка привязать Сиерве Марии пастуший колокольчик на запястье не увенчалась успехом, поскольку она двигалась так осторожно, что тот не звякал. «Цвет кожи – единственное, что в ней есть белого», говаривала Бернарда, и это было воистину так – дошло до того, что девочка стала называться африканским именем, которое сама придумала: Мария Мандинга.

Их отношения достигли предельного накала, когда однажды ранним утром Бернарда проснулась, умирая от жажды, вызванной излишками какао, и нашла на дне большого кувшина с водой одну из кукол Сиервы Марии. Ей подумалось, что это не просто утонувшая кукла, а нечто пострашнее: кукла убитая.

Пребывая в уверенности, что Сиерва Мария наложила на нее смертоносное африканское проклятье, Бернарда решила, что им не жить вдвоем под одной крышей. Маркиз предпринял робкую попытку посредничества, но жена перебила его: «Или она, или я». Так Сиерва Мария вернулась в невольничью хижину и оставалась там, даже когда мать уезжала на сахарную плантацию. Она была все такой же молчаливой, как при рождении, и столь же неграмотной.

Дела Бернарды шли не многим лучше. Она пыталась удержать Иуду Искариота, став такой же, как он, и меньше чем за два года утратила не только деловую хватку, но и жизненные ориентиры. Она наряжала любовника нубийским принцем, трефовым тузом или волхвом Мельхиором и отправлялась с ним в трущобы, особенно в пору, когда галеоны бросали якорь в бухте и город уходил в шестимесячный загул. Во всех близлежащих закоулках открывались таверны и бордели для купцов из Лимы, Портобело, Гаваны и Веракруза, прибывших сюда, чтобы торговаться за товары со всех известных концов света.

Однажды вечером Иуда подошел к Бернарде, шатаясь от пойла, которым накачался в кабаке для галерных рабов, и сказал с загадочным видом:

– Закрой глаза и открой рот.

Бернарда послушалась, и он положил ей на язык пластинку волшебного шоколада из Оахаки. Почувствовав знакомый вкус, Бернарда выплюнула угощение: она с детства терпеть не могла какао. Иуда поведал ей, что это вещество священно: оно дарит радость, придает сил, поднимает настроение и обостряет чувственность.

Бернарда расхохоталась.

– Будь это правдой, сестры из монастыря Святой Клары укрощали бы на арене быков, – сказала она.

К тому времени Бернарда уже не могла обойтись без хмельного меда, к которому пристрастилась вместе со школьными товарками еще до замужества, и не только глотала брагу, но словно втягивала медовую сладость посредством всех пяти чувств, тая в знойном воздухе сахарной плантации. С Иудой она научилась жевать табак и листья колы, смешанные с пеплом дерева ярумо, по обычаю индейцев Сиерра-Невады. Посещая таверны, она пробовала индийскую коноплю, кипрский скипидар и пейотль из Реал-де-Каторсе; по меньшей мере однажды она курила опиум, привезенный филиппинскими торговцами из Нао, что в Китае.

Тем не менее, она не осталась глуха к Иудиной речи во славу какао. Доев плитку, она признала достоинства шоколада и с тех пор предпочитала его всему остальному. Иуда же промышлял воровством, сутенерством, а порой делил ложе с мужчинами – чисто из склонности к пороку, ведь он ни в чем не знал нужды. Одним роковым вечером он,

безоружный, сцепился с тремя галерными рабами из-за карточной ссоры, и его забили до смерти стулом на глазах у Бернарды.

Бернарда нашла убежище на сахарной плантации. Заброшенный ею дом уберегла от распада лишь воля Доминги де Адвиенто, которая растила Сиерву Марию под руководством своих богов. Маркиз почти ничего не знал о падении жены. По слухам, доходившим с плантации, она впала в исступление, говорила сама с собой и приглашала школьных подруг на римские оргии, для которых отбирала рабов, наиболее щедро одаренных природой. Богатство, приплывшее к ней по реке, в реке же и сгинуло, и Бернарда оказалась во власти бурдюков с медом и мешков какао, припрятанных ею повсюду, чтобы не терять времени, когда ее вновь охватывало неутолимое желание. Все, что у нее осталось на черный день, – два кувшина с золотыми дублонами достоинством в сто или четыреста реалов, зарытые под кроватью в дни благоденствия. Внешность Бернарды претерпела столь разрушительные изменения, что даже муж не узнал ее, когда она в последний раз вернулась из Махатеса после трех лет, безвылазно проведенных на сахарной плантации, и незадолго до того, как собака укусила Сиерву Марию.

В середине марта угроза бешенства, по всей видимости, ослабла. В благодарность судьбе маркиз вознамерился искупить грехи прошлого и завоевать сердце дочери с помощью рецепта счастья, выписанного Абренунцио. Он проводил с девочкой все время, научился расчесывать и заплетать ее волосы, а еще пытался привить ей манеры белой барышни, возродив свой забытый идеал южноамериканского аристократа, и подавить ее пристрастие к маринованной игуане и жаркому из броненосца. Одним словом, он испробовал почти все, забыв лишь призадуматься, сделает ли это девочку счастливой.

Абренунцио по-прежнему наносил им визиты. Он находил общение с хозяином дома занятием не из легких, но его интриговало блаженное неведение маркиза – здесь, на сторожевой заставе мира, который держала в страхе Святая Инквизиция. Так они провели месяцы палящей жары: Абренунцио разглагольствовал впустую под сенью цветущих апельсиновых деревьев, а маркиз гнил в своем гамаке, за тысячу триста морских миль от короля, который никогда не слышал его имени. Одну из таких встреч внезапно прервало душераздирающее стенание Бернарды.

Абренунцио насторожился. Маркиз прикинулся глухим, но следующий стон был так пронзителен, что притворяться дальше не имело смысла.

– Кто бы ни был этот человек, он нуждается в помощи, – произнес Абренунцио.

– Это моя вторая жена, – сказал маркиз.

– У нее больная печень.

– Откуда вы знаете?

– Она стонет с открытым ртом, – ответил доктор.

Отворив дверь без стука, он прищурился, пытаясь разглядеть Бернарду в темной комнате, но в постели ее не было. Лекарь позвал ее по имени; она не отвечала. Тогда он открыл окно, и жесткий полуденный свет открыл его взгляду Бернарду – голая, она крестом распростерлась на полу в душном облаке ядовитых газов. Ее кожа приобрела светло-серый оттенок, который говорил о запущенном несварении. Ослепленная внезапным сиянием, хлынувшим из раскрытого окна, Бернарда подняла голову, но не узнала доктора, поскольку тот стоял спиной к солнцу. Ему хватило одного взгляда, чтобы определить ее судьбу.

– Пора платить по счетам, милочка.

Он объяснил, что спасти ее пока еще возможно, правда, лишь в том случае, если она согласится немедленно подвергнуться процедуре очищения крови. Тут Бернарда поняла, кто это, с трудом села и разразилась отборными ругательствами. Абренунцио хладнокровно выслушал ее и снова закрыл окно. Покинув ее спальню, он задержался, проходя мимо маркиза, чтобы дать более точный прогноз:

– Сеньора маркиза умрет не позднее пятнадцатого сентября, если только раньше не повесится на стропилах.

– Жаль, что до пятнадцатого сентября так далеко, – невозмутимо ответил маркиз.

Он продолжал следовать рецепту, пытаясь осчастливить Сиерву Марию. Сидя на холме Сан-Лазаро, они наблюдали за роковыми ласточками на востоке и смотрели, как огромное красное солнце садится в пылающее море на западе. Девочка спросила, что находится за океаном, и маркиз ответил:

– Мир.

Любое его действие находило у девочки неожиданный отклик. Однажды вечером они увидели, что на горизонте появилась флотилия галеонов. Тугие паруса едва не лопались от ветра.

Город воспрянул. Отец с дочерью развлекались, глазея на марионеток, огнеглотателей и прочие бесчисленные аттракционы, что заполонили ярмарочную площадь в том благосклонном апреле. За два месяца Сиерва Мария узнала о повадках белых людей больше, чем за всю прошлую жизнь. Стараясь повлиять на нее, маркиз и сам преобразился, да так, что перемены, казалось, затронули не столько его личность, сколько самую суть.

В доме стало тесно от заводных балерин, музыкальных шкатулок и механических часов всех сортов, что только продавались на ярмарках Европы. Маркиз сдул пыль с итальянской теорбы. Он перетянул струны, настроил лютню с терпением, которое можно было объяснить только любовью, и принялся за мелодии далекого прошлого, невпопад напевая приятным голосом, – ни прошедшие годы, ни горестные воспоминания не смогли его изменить. Тогда девочка и спросила его, правда ли, что любовь побеждает все препятствия, как говорится в песнях.

– Правда, – ответил он, – но тебе не стоит принимать это на веру.

Радуясь добрым знакам, маркиз начал подумывать о путешествии в Севилью, чтобы Сиерва Мария исцелилась от своей молчаливой скорби и завершила познание мира. Даты и маршрут уже были назначены, когда Каридад де Кобре разбудила его посреди сиесты с ужасной вестью:

– Сеньор, моя бедная малышка превращается в собаку!

Абренунцио, спешно вызванный к девочке, опроверг распространенное поверье, будто страдающие бешенством принимают обличье животных, которые их укусили. Он констатировал небольшую лихорадку и не стал скидывать ее со счетов, хотя жар слыл самостоятельным заболеванием, а не симптомом других недугов. Убитому горем вельможе он сказал, что девочка вполне могла захворать чем-то еще, ведь собачий укус, будь он заразен или нет, не давал защиты от прочих болезней. Оставалось только ждать, как и всегда.

– Это все, что вы можете мне сказать? – спросил маркиз.

– Наука не удостоила меня возможности сказать вам больше, – столь же едко парировал лекарь. – Но если вы не доверяете мне, остается еще один выход: положиться на Господа.

Маркиз его не понял.

– Готов был поклясться, что вы неверующий, – сказал он.

Доктор даже не повернулся, чтобы взглянуть на него.

– К сожалению, это не так, сеньор.

Вместо того, чтобы предаться Божьей воле, маркиз обратился к средствам, дающим хоть каплю надежды. Кроме Абренунцио, в городе обретались три врача, шесть аптекарей и одиннадцать брадобреев, не говоря уже о бесчисленных знахарях и колдунах, хотя за последние полвека инквизиция приговорила тысячу триста человек к разнообразным карам, а семерых отправила на костер. Юный врач из Саламанки раскрыл затянувшуюся рану Сиервы Марии и сделал припарку из едкой щелочи, чтобы вытянуть вредоносные соки. Другой лекарь поставил ей на спину пиявок с той же целью. Один цирюльник

промыл рану собственной мочой пациентки, другой заставил ее эту жидкость выпить. Каждый день на протяжении пары недель Сиерву Марию дважды погружали в ванну с травяным отваром и делали ей две лекарственные клизмы; под конец девочку едва не уморили микстурой из чистой сурьмы и прочими ядовитыми зельями.

Жар отступил, но никто не решался утверждать, что угроза бешенства миновала. Сиерва Мария была при смерти. Сначала она успешно отбивалась от всех посягательств, но спустя две бесплодные недели на ее лодыжке красовалась воспаленная язва, тело пестрело ожогами от горчичных пластырей и волдырями от припарок, кожа на животе была содрана. Ее терзали всевозможные напасти: головокружение, судороги, спазмы, горячка, понос и недержание мочи; она каталась по полу, воя от боли и ярости. Даже самые отважные целители оставили девочку на волю провидения, убедившись, что она безумна или одержима демонами. Маркиз утратил всякую надежду, когда вдруг появилась Сагунта с ключом Святого Хуберта.

Это был конец. Сагунта сбросила свои простыни, умастила кожу индейскими снадобьями и стала тереться о нагое тело девочки. Та дралась ногами и руками, несмотря на предельную слабость, и старуха применила силу. Заслышав дикие вопли, Бернарда пришла узнать, что происходит, и увидела, что Сиерва Мария бьется в исступлении на полу, а верхом на ней восседает Сагунта, прикрытая лишь медно-рыжими волосами девочки, и горланит молитву Святому Хуберту. Бернарда огрела их своим гамаком, и обе съежились, взятые врасплох нежданной атакой. Сначала она хлестала их там, где застигла, потом долго гоняла из угла в угол, пока окончательно не выдохлась.

Глава епархии, дон Торибио де Касерес-и-Виртудес, встревоженный скандалом, разгоравшимся вокруг злоключений и неистовства Сиервы Марии, послал за маркизом, не указав повода, даты или времени ожидаемого визита. Это означало, что явиться следует как можно скорее. Преодолев свою нерешительность, маркиз отправился к епископу в тот же день и без предварительного доклада.

Епископ принял сан в ту пору, когда маркиз уже удалился от светской жизни, так что они никогда прежде не встречались лично. Помимо того, здоровье иерарха оставляло желать многим лучшего: немощное тело уступало силой голосу и ограничивало хозяина во всем, к тому же его глодала злокачественная астма, служившая постоянным испытанием веры. Он манкировал целым рядом мероприятий, где его отсутствие было немыслимо, а если и появлялся, то сохранял вид настолько отрешенный, что мало-помалу стал производить впечатление потустороннего существа.

Маркиз видел его несколько раз, всегда с большого расстояния и при стечении народа, но лучше всего ему запомнилась месса, на которой епископ участвовал в обряде возложения паллия, восседая в паланкине, несомом правительственными сановниками. Благодаря огромному телу и кричащей роскоши одеяний на первый взгляд он казался всего лишь тучным стариком, но тонкие черты гладко выбритого лица и зеленые глаза редкого оттенка сохранили красоту, неподвластную времени. Сидя на своих носилках, он распространял магическую ауру верховного понтифика, и те, кто знал его близко, ощущали ту же силу в его блестящей учености и осознании собственного могущества.

Дворец, где он обитал, был старейшим в городе и представлял собой двухэтажные руины с вереницей огромных пустых залов. Епископ занимал не больше половины этажа. Резиденция примыкала к собору; крытая галерея с почерневшими арками соединяла оба здания. Полуразрушенный колодец во дворе зарос пустынным кустарником. Даже величественный фасад, отделанный резным камнем, и монументальные двери из цельных бревен несли губительные следы упадка.

У парадного крыльца маркиза встретил священник-индеец. Раздав скудное подаяние толпе нищих, сползшихся к портику, маркиз ступил под прохладные своды епископской резиденции, и тут же исполинский соборный колокол пробил четыре часа пополудни, отозвавшись эхом у него в животе. В центральном коридоре было так темно, что он шел за

священником вслепую и взвешивал каждый шаг, чтобы не споткнуться о торчащие там и сям скульптуры или обломки, которые преграждали путь. В конце коридора обнаружилась небольшая приемная, освещенная чуть лучше благодаря полукруглому оконцу. Индеец попросил маркиза присесть и подождать, а сам вошел в соседнюю комнату. Маркиз остался на ногах, разглядывая большой портрет маслом, висевший на длинной стене. Картина изображала молодого человека в парадной униформе королевской гвардии. Лишь глянув на бронзовую табличку, прикрепленную к раме, маркиз понял, что это сам епископ в юности.

Священник открыл дверь и пригласил его войти. Не сделав и пары шагов, маркиз вновь увидел епископа, правда, на сорок лет старше портрета. Несмотря на ущерб, нанесенный астмой и жарким климатом, он выглядел гораздо больше и внушительнее, чем говорили люди. Истекая потом, он медленно покачивался в кресле филиппинской работы, слабо обмахиваясь пальмовым веером каждый раз, когда откидывался назад, чтобы отдышаться. На нем были крестьянские сандалии и заплатанная туника грубого льна, обветшавшая от многочисленных стирок, и с первого же взгляда становилось ясно, что он искренен в своем нестяжательстве. Однако еще больше поражала ясность его глаз, объяснимая лишь особыми заслугами души. Завидев в дверях маркиза, епископ тут же перестал раскачиваться и взмахнул веером в приветственном жесте:

– Входите, Игнасио. Мой дом принадлежит вам.

Маркиз вытер влажные руки о штаны, шагнул вперед и оказался под пологом из желтых колокольчиков и папоротников на открытой террасе с видом на церковные шпили, красную черепицу богатых домов, нагретые солнцем голубятни и силуэт крепости на фоне стеклянного небосвода и пылающего моря. Епископ многозначительно протянул ему свою руку – руку солдата – и маркиз приложился губами к его перстню.

Из-за астмы дыхание епископа было трудным и хриплым, а речь то и дело прерывалась неуместными вздохами и резким коротким кашлем, но ничто не могло унять его красноречие. Он развернул быстрый и непринужденный обмен банальными любезностями. Маркиз, занявший место напротив, испытывал благодарность за этот утешительный пролог, который настолько затянулся, что собеседники изумились, услышав, как колокол отбивает пять часов. Звук ширился и вибрировал, заставляя подрагивать лучи вечернего солнца; небо заполонили потревоженные голуби.

– Это ужасно, – сказал епископ. – Каждый час отдается в моем нутре, как землетрясение.

Его слова поразили маркиза, поскольку та же мысль посетила его в четыре часа. Епископ нашел, что это совпадение вполне естественно.

– Идеи никому не принадлежат, – сказал он, потом начертил указательным пальцем несколько кругов в пустоте и заключил: – Они парят в воздухе, как ангелы.

Монахиня, что хлопотала в его доме по хозяйству, принесла графин густого крепкого вина с нарезанными фруктами и дымящуюся чашу с водой, которая источала лекарственный запах. Прикрыв глаза, епископ вдохнул пар; когда он вышел из блаженного забытья, перед маркизом предстал другой человек – абсолютное воплощение власти.

– Мы призвали вас, ибо наслышаны, что вы нуждаетесь в Божьей помощи, хотя и упорствуете в обратном, – произнес епископ.

– Вашей милости следует знать, что на меня обрушилось величайшее несчастье из возможных, – сказал маркиз с обезоруживающим смирением. – Я перестал верить в Бога.

– Мы знаем, сын мой, – ответил епископ без тени удивления, – как нам не знать.

Он говорил с некоторой радостью, поскольку и сам утратил веру, будучи двадцатилетним гвардейцем короля и находясь в самом сердце битвы в Марокко.

– Я проникся ошеломляющей уверенностью, что Бога больше нет, – сказал он.

Эта мысль повергла юношу в такой ужас, что он посвятил свою жизнь молитве и покаянию.

– Пока Господь не сжалился надо мной и не указал путь к истинному призванию, – завершил епископ. – Сие доказывает, что, несмотря на ваше неверие, Бог продолжает верить в вас. В этом не приходится сомневаться, ведь именно Он в своем бесконечном милосердии просветил нас, дабы мы могли принести вам утешительную весть.

– Я старался переносить тяготы молча, – сказал маркиз.

– Что ж, вам это не удалось, – заметил епископ. – Всем известно, что ваше бедное дитя катается по полу в непристойных корчах и выкрикивает языческие бредни, – это ли не верные признаки одержимости бесами?

Маркиз похолодел от страха.

– Что вы имеете в виду?

– Одно из многочисленных ухищрений дьявола заключается в том, что он принимает обличье тяжелого недуга с целью проникнуть в тело невинной жертвы, – пояснил епископ. – А коль скоро он оказался внутри, никаких человеческих сил не хватит, чтобы изгнать его.

Маркиз рассказал о медицинских процедурах, которым девочка подверглась из-за укуса, но епископ находил все новые доводы в поддержку своей точки зрения. Он спросил тоном, не допускавшим сомнения, что ответ ему известен:

– Вы знаете, кто такой Абренунцио?

– Он первым осмотрел девочку, – ответил маркиз.

– Я хотел услышать это от вас, – произнес епископ.

Он позвонил в маленький колокольчик, который всегда держал под рукой, и на террасе появился священник лет тридцати пяти с поспешностью джинна, выпущенного из бутылки. Епископ без церемоний представил его как отца Каэтано Делауру и пригласил сесть. Из-за жары вновь пришедший был облачен в простую сутану и такие же сандалии, как у епископа. Выразительное лицо падре отличалось бледностью, у него были иссиня-черные волосы с белой прядью на лбу и одухотворенный взгляд. Учащенное дыхание и суетливые руки не выдавали в нем человека счастливого.

– Что нам известно об Абренунцио? – спросил его епископ.

Отец Делаура не медлил с ответом ни секунды.

– Абренунцио де Са Перейра Као, – произнес он так, словно диктовал по слогам, затем повернулся к маркизу: – Вы обратили внимание, сеньор, что его последнее имя означает «собака» на португальском наречии?

Делаура поведал, что никто не знает, является ли это имя настоящим. По сведениям Святой Инквизиции, Абренунцио – португальский еврей, изгнанный с Полуострова и нашедший здесь приют благодаря покровительству губернатора, признательного за исцеление от двухфунтовой грыжи с помощью живительных вод Турбако. Падре не оставил без внимания колдовские рецепты Абренунцио, гордыню, с коей тот предсказывал смерть, подозрения в педерастии, чтение вольнодумных книг и безбожную жизнь. Впрочем, против лекаря было выдвинуто лишь одно конкретное обвинение: говорили, что он оживил портного в квартале Хетсемани. Имелось веское доказательство, что предполагаемый покойник уже лежал в саване и гробу, когда Абренунцио повелел ему встать. К счастью, воскрешенный портной самолично предстал перед святым трибуналом и заявил, что все время находился в сознании.

– Это спасло Абренунцио от костра, – сказал Делаура. Напоследок он припомнил случай с конем, который испустил дух на холме Сан-Лазаро и был похоронен в освященной земле.

– Абренунцио любил его, как человека, – примирительно вставил маркиз.

– Он нанес оскорбление нашей вере, сеньор маркиз, – ответил Делаура. – Лошади, живущие до ста лет, не могут быть творением рук Божьих.

Маркиза встревожило, что забавный случай, не касавшийся посторонних, попал в архивы Святой Инквизиции. Он сделал робкую попытку вступиться:

– У Абренунцио язык без костей, но, по моему скромному мнению, это еще не делает его еретиком.

Беседа грозила перерасти в ожесточенную и нескончаемую дискуссию, но епископ вернул их к более насущному вопросу.

– Что бы ни утверждали врачи, – сказал он, – бешенство, поражающее людей, часто лишь одна из многочисленных ловушек дьявола.

Маркиз не понял, что это значит, и тогда епископ пояснил свою мысль с такой описательной силой, что его собеседник ощутил себя в преддверии вечных мук.

– К счастью, – заключил дон Торибио, – даже если тело вашей дочери обречено на гибель, Господь снабдил нас средствами для спасения ее души.

Мир погрузился в гнетущие сумерки. Увидев первую звезду на лиловом небосклоне, маркиз подумал о дочери, такой одинокой в заброшенном доме, и представил, как она волочит больную ногу, искалеченную шарлатанами. Со свойственной ему скромностью он спросил:

– Что же мне делать?

Епископ дал ему подробные указания и уполномочил действовать от своего имени на каждом этапе пути, а прежде всего в монастыре Святой Клары, куда надлежало без промедления отправить девочку.

– Поручите ее нам, – сказал он в заключение, – а Господь позаботится об остальном.

При прощании на душе у маркиза было еще тяжелее, чем когда он явился. Из окна кареты он глядел на безлюдные улицы, на голых детей, играющих в грязи, на отбросы, расклеванные аурами. Карета повернула за угол, и взгляду его открылся океан, неизменно пребывающий на своем месте. Маркиза охватило сомнение.

Он вошел в темный дом в тот миг, когда колокол звонил «Ангелюс», и впервые со дня смерти доньи Олайи произнес молитву вслух: «Ангел Господень возвестил Марии…». В полумраке звучали струны теорбы, будто кто-то играл на дне пруда. Двигаясь вслепую, маркиз пошел на звук музыки, который привел его в спальню дочери. Там он ее и нашел – Сиерва Мария сидела за туалетным столиком в белой тунике, ее неубранные волосы падали на пол. Она исполняла нехитрое упражнение, разученное вместе с ним. Маркиз заподозрил вмешательство чуда: он не узнал в ней девочку, изнуренную безжалостными знахарями, которую покинул днем. Но то была мимолетная иллюзия; заметив его, Сиерва Мария прекратила играть и вновь погрузилась в страдание.

Маркиз остался с ней на всю ночь. Он принял участие в ритуале отхода ко сну со всей неуклюжестью новоиспеченного отца – напялил на дочь ночную рубашку задом наперед, так что девочке пришлось стянуть ее и надеть заново. Маркиз никогда прежде не видел ее голой и опечалился, увидев выпирающие ребра, маленькие пуговицы сосков и нежный пушок. Вокруг воспаленной лодыжки пылал багровый ореол. Улегшись с помощью отца в постель, девочка замкнулась в своей одинокой муке с едва слышным стоном, и маркиз содрогнулся от внезапной уверенности, что ведет ее на верную смерть.

Он ощутил потребность в молитве – в первый раз с тех пор, как утратил веру. Зайдя в часовню, он сделал неимоверное усилие, пытаясь вновь обрести бога, который отрекся от него, но тщетно: неверие гораздо сильнее веры, ибо весь наш чувственный опыт говорит в его пользу. Девочка несколько раз кашлянула в прохладе раннего утра, и маркиз вернулся в ее спальню. По дороге он увидел, что дверь в комнату Бернарды приоткрыта. Распахнув ее, он заглянул внутрь, движимый порывом с кем-то разделить свои сомнения. Она лежала на полу лицом вверх и оглушительно храпела. Маркиз остановился в дверях, держа руку на засове, и не стал будить жену. Он сказал в пустоту:

– Твою жизнь за ее, – и тут же поправился: – Обе наших дерьмовых жизни за нее, проклятье!

Девочка спала. Глядя на неподвижную и бледную дочь, маркиз спросил себя, предпочел бы он видеть ее мертвой или терзаемой бешенством. Поправив москитный

полог – защиту от нетопырей-кровососов, он укрыл ее одеялом, чтобы уберечь от кашля, и всю ночь нес дозор у ее постели, радуясь неизведанному чувству, что любит ее, как не любил никого на свете, а потом принял самое важное решение в своей жизни, не спросясь ни Бога, ни людей. В четыре утра Сиерва Мария открыла глаза и увидела, что маркиз сидит у кровати.

– Нам пора, – сказал он.

Девочка встала, не требуя объяснений. Маркиз помог ей одеться соответственно случаю: он отыскал в сундуке бархатные домашние туфли, чтобы жесткий задник ее ботинок не тревожил больное место, а заодно нашел детское бальное платье своей матери. Платье вылиняло и покрылось пятнами от старости, однако его явно носили не больше одного раза. Теперь, почти век спустя, маркиз надел его на Сиерву Марию поверх сантерийских ожерелий и скапулярия. Платье было ей тесновато и оттого казалось еще более ветхим. В том же сундуке маркиз обнаружил шляпу с цветными лентами, которая совсем не сочеталась с платьем, зато отлично сидела. Затем он упаковал в маленький саквояж ночную рубашку, гребень с частыми зубьями для вычесывания гнид и маленький требник покойной маркизы с золотыми застежками, инкрустированный перламутром.

Было вербное воскресенье. Маркиз отвел Сиерву Марию к пятичасовой мессе, и она без возражений приняла благословенную пальмовую ветвь, не зная, зачем. Уже сидя в карете, они увидели восход солнца. Маркиз занимал главное место, держа на коленях саквояж, девочка невозмутимо сидела напротив, глядя из окна на последние улицы в своей двенадцатилетней жизни. Она не проявила ни малейшего интереса к тому, куда ее везут так рано утром в наряде безумной королевы Хуаны и шляпе потаскухи. После долгого раздумья маркиз спросил:

– Ты знаешь, кто такой Бог?

Девочка отрицательно покачала головой.

Далеко на горизонте сверкнула молния и грянул гром, небо нависло над хмурым океаном. Карета повернула за угол, и перед ними предстала обитель Святой Клары – одинокое белое строение с тремя рядами окон, закрытых синими шторами и выходящих на усеянный мусором пляж.

– Нам туда, – сказал маркиз, вытянув палец в сторону монастыря, затем указал влево: – Ты сможешь весь день смотреть на океан из окна.

Поскольку девочка не ответила, он произнес:

– Ты останешься на несколько дней у сестер Святой Клары.

Это было единственное, что он сказал дочери насчет ожидавшей ее судьбы.

По случаю вербного воскресенья у входа в монастырь, прегражденного турникетом, собралось еще больше нищих, чем обычно. Несколько прокаженных, которые препирались с ними из-за кухонных отходов, тоже бросились к маркизу с протянутыми руками. Он оделил их скудным подаянием, давая по монете каждому, пока у него не кончились четвертаки. Завидев маркиза в черной тафте и девочку, наряженную, как королеву, монахиня-привратница направилась к ним сквозь толпу. Маркиз сообщил, что привез Сиерву Марию по приказу епископа. Он говорил таким тоном, что привратница тут же поверила ему. Она оглядела девочку и сняла шляпу с ее головы.

– Здесь нельзя их носить, – сказала она.

Шляпа так и осталась у монахини. Маркиз попытался вручить ей саквояж, но она не взяла его со словами:

– Ей ничего не понадобится.

Небрежно подколотая коса девочки развернулась и упала, почти коснувшись земли. Привратница не верила своим глазам. Маркиз попытался уложить косу заново, но девочка отстранила его и сама привела свои волосы в порядок с такой сноровкой, что монахиня только дивилась.

– Волосы придется остричь, – заметила она.

– Они принадлежат Святой Деве до того дня, когда моя дочь выйдет замуж, – сказал маркиз.

Привратница сочла этот довод убедительным. Она взяла девочку за руку и провела ее через турникет, не дав времени проститься. Сиерва Мария сняла левую туфлю, потому что лодыжка причиняла ей боль при ходьбе. Маркиз глядел, как она идет прочь с туфлей в руке, осторожно припадая на босую ногу. Он тщетно надеялся, что дочь обернется и посмотрит на него в редком порыве сожаления. Так он и запомнил Сиерву Марию – ковыляющей по садовой галерее, волоча больную ступню, чтобы затем исчезнуть в обители погребенных заживо.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Бесчисленные и одинаковые окна всех трех этажей монастыря Святой Клары выходили на море. Галерея с полукруглыми арками огибала сумрачный запущенный сад. Каменная тропа уходила в заросли бананов и дикого папоротника, над которыми возвышались тощая пальма, в своем стремлении к свету переросшая плоскую крышу, и дерево колоссальных размеров, оплетенное вьющейся ванилью и гирляндами орхидей. Под его ветвями стояла цистерна с затхлой водой. На ее железном ободке, изъеденном ржавчиной, выделывали цирковые трюки ручные ара.

Сад делил монастырь на два крыла. Три этажа справа занимали погребенные заживо, туда почти не доносился шелест волн о прибрежные скалы и гимны с молитвами в часы богослужений. Этот флигель соединялся с часовней посредством внутренней двери, которая позволяла монахиням пройти к алтарю, не заходя в общий притвор, и слушать мессу или петь за решетчатыми ставнями, все видя, но оставаясь скрытыми от посторонних глаз. Прекрасный кессонный потолок из дерева ценных пород служил украшением всей обители; его создатель, испанский ремесленник, потратил на эту работу полжизни взамен на право быть похороненным в сводчатой нише главного престола. Там он и покоился под мраморной плитой, в окружении епископов, аббатис и прочих выдающихся личностей, усопших за последние два столетия.

К моменту появления Сиервы Марии среди затворниц насчитывалось восемьдесят две испанки, каждая с собственной прислугой, и тридцать шесть креолок из родовитых семей вице-королевства. После принятия обета целомудрия, молчания и бедности у них оставалась единственная связь с внешним миром – редкие посещения, которые проходили в приемной, за деревянными ставнями, пропускавшими голос, но не свет. Приемная находилась недалеко от ворот с турникетом; визиты подчинялись строгому распорядку и требовали обязательного присутствия компаньонки.

Слева от сада располагались школы и всевозможные мастерские; кроме того, там обитало множество юных послушниц и женщин, обучавших девушек ремеслам. Здесь же стояла хозяйственная пристройка с огромной кухней, дровяными плитами, помещением для разделки мяса и большой хлебной печью. На заднем дворе, куда стекали грязные помои, ютилось несколько невольничьих семей, а еще дальше были конюшни, загон для коз, свинарник, сад и пасека, где росло и зрело все необходимое для сытой жизни.

Совсем на отшибе, в углу, преданном запустению самим Богом, стоял уединенный флигель, в течение шестидесяти восьми лет служивший инквизиторской тюрьмой, а нынче превращенный в карцер для заблудших клариссинок. Самая дальняя келья в этих застенках предназначалась для Сиервы Марии, укушенной псом девяносто три дня назад и не проявляющей никаких признаков бешенства.

Доведя Сиерву Марию за руку до конца коридора, привратница увидела, что одна из послушниц идет в сторону кухни, и попросила ее сопроводить девочку к аббатисе. Послушница сочла неуместным вести томную, нарядно одетую гостью через кухонный дым и чад, поэтому она усадила Сиерву Марию на каменную скамью в саду и ушла, решив вернуться за ней попозже. На обратном пути она забыла о своем намерении.

Бусы и кольца Сиервы Марии привлекли внимание парочки других послушниц, шедших мимо. Девушки спросили, кто она такая, но не дождались ответа, затем попытались выяснить, говорит ли она по-испански, но с таким же успехом могли бы обращаться к мертвецу.

– Она глухонемая, – сказала младшая из них.

– Или немка, – предположила другая.

Младшая принялась тормошить девочку, словно бесчувственную куклу. Она развернула косу, которую Сиерва Мария уложила кольцом на затылке, и измерила ее.

– Почти четыре пяди! – сказала она в полной уверенности, что девочка ее не слышит, и начала было расплетать косу, но Сиерва Мария одарила ее леденящим взглядом. Послушница уставилась на нее в ответ и высунула язык.

– У тебя глаза дьявола, – сказала она.

Девочка без сопротивления позволила ей снять с себя одно из колец, но когда вторая послушница прикоснулась к ожерельям, Сиерва Мария бросилась на нее, как гадюка, и, не целясь, молниеносно вонзила зубы в ее руку. Послушница убежала смыть кровь.

Молитва третьего часа началась в тот миг, когда Сиерва Мария встала, чтобы попить из цистерны. Испугавшись, она вернулась к скамье, так и не пригубив воды, но затем поняла, что это всего лишь пение монахинь, и повторила свою вылазку. Ловко отстранив слой гниющих листьев, девочка напилась из пригоршни, не обращая внимания на водяных червей. Потом она помочилась за деревом, присев на корточки и держа наготове палку для защиты от опасных зверей и коварных мужчин, как учила ее Доминга де Адвиенто.

Чуть спустя две черные рабыни, проходя мимо, заметили сантерийские ожерелья и обратились к девочке на йоруба. Она радостно ответила им на том же наречии. Так как никто не знал, почему девочка здесь оказалась, негритянки отвели ее на шумную кухню, где прислуга встретила ее с восторгом. Кто-то заметил рану на ее лодыжке и спросил, что случилось.

– Мать ударила меня ножом, – ответила девочка. На вопрос, как ее зовут, она назвала свое африканское имя: Мария Мандинга.

Сиерва Мария вновь обрела привычный мир. Она помогла заколоть козла, который отчаянно боролся за жизнь, и вырезала у туши глаза и тестикулы – свои любимые лакомства. Она играла в диаболо со взрослыми на кухне и с детьми во дворе, и каждый раз победа оставалась за ней, пела на йоруба, конголезском и мандинго, и даже те, кто не понимал этих языков, зачарованно слушали. На обед она съела блюдо из козлиных глаз и яичек, зажаренных на сале и приправленных жгучими специями.

К тому времени о девочке знала вся обитель, кроме Хосефы Миранды, настоятельницы, женщины тощей и суровой, которая унаследовала ограниченность в качестве фамильной черты. Она воспитывалась в Бургосе, в тени Святой Палаты, но руководительский талант и косность предрассудков были ее спутниками от рождения. Две достойные монахини выполняли роль ее наместниц, но аббатиса не нуждалась в них, поскольку прекрасно справлялась со всеми делами без посторонней помощи.

Вражда настоятельницы с местным епископатом началась почти за целое столетие до ее рождения. Причиной распри, как и в случае других исторических конфликтов, стали незначительные разногласия по поводу денежных и правовых отношений между сестрами-клариссинками и епископом-францисканцем. Убедившись, что противник не пойдет на уступки, монахини заручились поддержкой светских властей и тем самым развязали войну, которая в определенный момент переросла во всеобщий раскол.

Епископ, пользуясь сочувствием других общин, осадил монастырь в надежде взять сестер измором и принудить к повиновению; кроме того, он издал декрет *Cessatio a Divinis*, иными словами, отменил все церковные службы в городе вплоть до новых распоряжений. Народ разбился на два враждующих лагеря, которые встали на сторону светских или духовных властей. Однако спустя шесть месяцев осады клариссинки были по-прежнему живы и демонстрировали полную боевую готовность. Так продолжалось,

пока враги не обнаружили тайный ход, через который партизаны снабжали сестер припасами. Францисканцы, к тому времени привлекшие под свои знамена нового губернатора, ворвались в запретные глубины обители Святой Клары и выкурили оттуда монашек.

За двадцать лет страсти улеглись, а монастырь, лишенный военных укреплений, вернули клариссинкам, но даже век спустя Хосефа Миранда кипела от гнева. Она внушала свою злобу послушницам, берегла ее и лелеяла – скорее, усилием воли, нежели по велению сердца, и возлагала всю вину за это на епископа Касерес-и-Виртудеса, а также на все и вся, к чему он имел отношение. Соответственно, когда аббатисе доложили, что маркиз де Касальдуэро по приказу епископа привез в монастырь двенадцатилетнюю дочь, явно и безнадежно одержимую бесами, ее реакция была вполне предсказуемой. Она задала лишь один вопрос:

– Разве есть такой маркиз?

Аббатиса вложила в эти слова двойную порцию яда: во-первых, дело касалось епископа, во-вторых, она никогда не принимала всерьез креольских аристократов, которых величала «подзаборной знатью».

Ко времени обеда ей так и не удалось разыскать Сиерву Марию. Привратница сообщила одной из старших монахинь, что на рассвете человек в траурных одеждах привел светловолосую девочку, наряженную по-королевски, но больше она ничего не смогла о ней разузнать, так как в тот самый миг нищие подрались из-за маниокового супа, которым их угостили в честь вербного воскресенья. В качестве доказательства она вручила монахине шляпу с пестрыми лентами, а та показала ее аббатисе, когда они отправились на поиски девочки. Аббатиса не питала никаких сомнений по поводу владелицы головного убора. Брезгливо взяв шляпу двумя пальцами, она осмотрела ее на расстоянии вытянутой руки.

– Благородная сеньорита в шляпе уличной девки! – сказала она. – Сатана знает, что делает.

В девять утра аббатиса проходила через сад на пути в приемную и задержалась, чтобы обсудить с каменщиками стоимость прокладки водопровода, но не заметила девочку, которая сидела на каменной скамье. Другие монахини, в разное время бывшие в саду, тоже ее не видели. Две послушницы, которые отобрали у Сиервы Марии кольцо, поклялись, что когда они шли мимо скамьи после трехчасовой молитвы, ее там не было.

Едва пробудившись от сиесты, аббатиса услышала пение. Одинокий голос заполнил собою всю обитель. Она дернула за шнурок, висевший рядом с постелью, и в затемненной комнате тут же появилась послушница. Аббатиса спросила, кто так сладко поет.

– Девочка, – ответила послушница.

– Какой чудесный голос, – пробормотала аббатиса в полусне, затем рывком села на постели:

– Какая еще девочка?

– Не знаю, – сказала послушница, – но из-за нее на заднем дворе с самого утра переполох.

– Клянусь Святым Причастием! – воскликнула аббатиса и соскочила с кровати. Она кинулась на звук голоса, пробежала через весь монастырь и оказалась в невольничьем дворике. Распустив косу до земли, Сиерва Мария пела, сидя на стуле, окруженная толпой завороженных слуг. Увидев аббатису, она замолчала. Хосефа Миранда воздела распятие, которое носила на шее.

– Радуйся, пречистая Дева Мария, – сказала она.

– Зачавшая без греха, – хором подхватили все присутствующие.

Аббатиса потрясла распятьем, наставив его, как оружие, на Сиерву Марию, и крикнула:

– Vade retro!

Рабы отступили, и девочка осталась в одиночестве; она неподвижно глядела в упор на свою тюремщицу.

– Сатанинское отродье! – завопила аббатиса. – Ты стала невидимкой, чтобы нас одурачить!

Она не добилась от девочки ни слова в ответ. Послушница сделала попытку увести Сиерву Марию за руку, но перепуганная аббатиса воскликнула:

– Не трогай ее! – потом обратилась к остальным: – Не сметь к ней прикасаться!

В конце концов, Сиерву Марию силой оттащили в самую дальнюю тюремную келью. Всю дорогу она лягалась и клацала зубами, как собака. По пути монахини обнаружили, что девочка перемазалась в собственных испражнениях, и окатили ее водой из ведра на конюшне.

– В этом городе столько монастырей, но его милости епископу угодно посылать всяких засранок к нам! – негодовала аббатиса.

В просторной келье были небеленые стены и высокий потолок с балками, изъеденными термитами. С единственной дверью соседствовало окно в пол с рейками из массивного дерева и железными поперечинами. На дальней стене, за которой было море, под потолком зияло окошко, забранное деревянной решеткой. Постелью служила бетонная плита, прикрытая холщовым матрасом с соломенной набивкой, испещренным пятнами от долгого употребления. Над вмурованной в стену скамьей и рабочим столом, который служил заодно алтарем и умывальником, одиноко висело прибитое к стене распятие. Там и оставили Сиерву Марию, промокшую насквозь и дрожащую от страха, под присмотром надзирательницы, искушенной в многовековой борьбе с демонами.

Сиерва Мария села на узкую кровать и уставилась на железные прутья укрепленной двери. В такой позе ее застала служанка, которая принесла ужин в пять часов. Девочка не шелохнулась. Служанка попыталась снять с нее ожерелья, но Сиерва Мария стиснула ее запястье и вынудила разжать пальцы. Для монастырского акта, заведенного тем вечером, женщина свидетельствовала, что сверхъестественная сила швырнула ее наземь.

Девочка сидела неподвижно, пока запирали дверь ее камеры – звон цепи, двойной поворот ключа в замке. Она глянула на еду: несколько полосок вяленого мяса, кусок маниокового хлеба и чашка шоколада. Откусив хлеба, она пожевала его и выплюнула, потом легла на спину. За стеной слышалось прерывистое дыхание моря, дул влажный ветер, гремела первая гроза нового сезона. На рассвете следующего дня, когда прислужница вернулась с завтраком, она обнаружила, что девочка спит на куче соломы, распотрошив матрас зубами и ногтями.

В полдень она позволила отвести себя в трапезную для тех, кто пока не принял обет уединения. Это был просторный зал со сводчатым потолком; сквозь большие окна внутрь пробивался блеск морских волн и грохот прибоя о скалы. Двадцать послушниц, по большей части молоденькие девушки, сидели в два ряда за длинными, грубо сбитыми столами. Все они были одеты в простые саржевые платья и побриты наголо; они веселились и дурачились, не скрывая восторга оттого, что едят свой казарменный паек за одним столом с бесноватой. Сиерва Мария села рядом с главным входом в компании двух бесстрастных надсмотрщиц; она почти не прикоснулась к пище. Ее обрядили в такую же робу, как у других послушниц, и все еще сырые туфли. Никто не смотрел на нее во время еды, но когда трапеза подошла к концу, несколько любопытных собрались вокруг, чтобы поглазеть на ее бусы. Одна девушка попробовала снять их, и Сиерва Мария пришла в ярость. Она оттолкнула надсмотрщиц, которые пытались усмирить ее, вскочила на стол и заметалась по нему взад и вперед в приступе неукротимого буйства, визжа так, словно в нее и вправду вселился бес. Разметав все на своем пути, она выпрыгнула в окно, поломала деревья во дворе, свернула ульи, затем опрокинула изгородь в загоне для скота и загородки в стойлах. Пчелы разлетелись, а животные, издавая панический рев, унеслись на самые задворки монастырских пределов.

С этого дня все, что бы ни произошло, списывалось на губительное влияние Сиервы Марии. Несколько послушниц заявили для протокола, будто видели, как она летит на прозрачных крыльях, издающих странное жужжание. Потребовалось два дня и целый полк рабов, чтобы загнать на место скотину, вернуть пчел к их сотам и навести порядок в обители. Ходили слухи, что свиньям подложили отраву, что питьевая вода вызывала провидческие сны, а одна из перепуганных куриц перелетела через крышу, устремилась к морю и скрылась за горизонтом. Но клариссинки недолго терзались страхом: несмотря на расстроенные чувства аббатисы и суеверный ужас монахинь, келья Сиервы Марии стала предметом всеобщего любопытства.

Комендантский час в обители начинался в семь часов вечера со всенощной и длился до заутрени и шестичасовой мессы. Гасли все огни, свет оставался лишь в кельях избранных, однако именно в эту пору в монастыре бурлила жизнь, полная относительной свободы. По коридорам шмыгали тени, повсюду слышался прерывистый шепот и царила деловитая суета. В самых неожиданных местах шла азартная игра испанскими колодами или утяжеленными костями, монахини угощались припрятанными настойками и тайком курили табак, объявленный Хосефой Мирандой вне закона. Такая невероятная интрига, как появление в монастырских стенах девочки, одержимой бесами, взбудоражила всех: даже самые суровые монахини покидали свое заточение после отбоя и наведывались к Сиерве Марии вдвоем или втроем. Поначалу она приветствовала всех ногтями, но вскоре научилась обращаться с ними сообразно характеру и настроению каждой. Часто ее просили замолвить словечко перед дьяволом, чтобы выпросить неслыханные милости. Сиерва Мария говорила на разные голоса, притворяясь то духом обезглавленного, то исчадием ада, и многие верили в ее искусные трюки; их показания исправно заносились в протокол. Однажды ночью в келью ворвалась компания переодетых монахинь; заткнув Сиерве Марии рот кляпом, они сдернули с нее ожерелья. Победа оказалась эфемерной: на обратном пути предводительница налета в спешке запнулась, упала на темной лестнице и разбила себе голову. Ее товарки не находили покоя, пока не вернули украденные бусы хозяйке. С тех пор никто не тревожил Сиерву Марию по ночам.

Маркиз де Касальдуэро предавался скорби все эти дни. Заточив девочку в монастырь после длительных раздумий, он моментально раскаялся в содеянном и теперь страдал меланхолией, от которой так никогда и не оправился. Несколько часов он пробродил вокруг обители, гадая, за каким из множества окон грустит о нем Сиерва Мария. Вернувшись домой, он увидел во дворе Бернарду, которая наслаждалась прохладой раннего утра, и содрогнулся при мысли, что она спросит его о Сиерве Марии, но жена даже не глянула в его сторону.

Он выпустил мастифов из клеток и лег в свой гамак, надеясь заснуть навечно, однако сон все не шел. Торговые ветра улеглись, и ночь дышала зноем. Болота исторгли стаи разнообразных насекомых, одуревших от жары, а заодно тучу плотоядных москитов; чтобы избавиться от них, приходилось жечь в комнатах навоз. Души впадали в летаргию. В это время года все жаждали первой бури так же пылко, как молились о ясной погоде шесть месяцев спустя.

На рассвете маркиз отправился к Абренунцио. Сев, он заранее испытал великое облегчение оттого, что может с кем-то поделиться своим горем, и без лишних слов перешел к делу:

– Я отвез девочку в обитель Святой Клары.

Абренунцио непонимающе посмотрел на него, и маркиз воспользовался замешательством лекаря, чтобы нанести следующий удар:

– Ей предстоит обряд изгнания бесов.

Врач глубоко вздохнул и произнес с завидным терпением:

– Расскажите мне обо всем по порядку.

Маркиз описал свой визит к епископу, внезапную потребность в молитве, свое опрометчивое решение и бессонную ночь. То была исповедь христианина старой закалки, который выложит все, не оставив за душой ни единой тайны.

– Я уверен, что действовал по Божьему наущению, – заключил он.

– Вы хотите сказать, что вновь обрели веру? – спросил Абренунцио.

– Веру нельзя утратить полностью, – изрек маркиз, – хотя сомнения неизбежны.

Абренунцио кивнул. Сам он всегда считал, что разуверение оставляет неизлечимый шрам там, где прежде жила вера, делая невозможным забвение. Ему было гораздо труднее понять, что кто-то готов подвергнуть родное дитя мукам экзорцизма.

– Этот ритуал не слишком отличается от африканского колдовства, – сказал он. – Пожалуй, он даже хуже: чернокожие приносят в жертву своим богами петухов, а Святая Инквизиция с радостью калечит невинных на дыбе или сжигает их живьем на потеху толпе.

Лекарь счел зловещим знаком присутствие монсеньора Каэтано Делауры во время встречи маркиза с епископом.

– Он палач, – сказал Абренунцио без обиняков, затем углубился в подробное перечисление древних аутодафе, которым были преданы душевнобольные, осужденные за бесовство или ересь.

– Думаю, было бы милосерднее убить ее, чем похоронить заживо, – сказал он под конец.

Маркиз осенил себя крестным знамением. Смерив взглядом гостя, робкого и похожего на привидение в своей траурной тафте, Абренунцио вновь заметил в его глазах огонек нерешительности, которая преследовала маркиза с рождения.

– Заберите ее оттуда, – сказал он.

– Я хотел это сделать с того момента, как она вошла в обитель погребенных при жизни, – произнес маркиз, – но не думаю, что у меня есть силы противиться Господней воле.

– Так найдите их, – сказал Абренунцио. – Быть может, однажды Господь вас за это отблагодарит.

Тем же вечером маркиз испросил аудиенции с епископом. Он сам написал детским почерком письмо, полное витиеватых оборотов, и лично вручил его привратнику, дабы быть уверенным, что оно достигнет адресата.

В понедельник епископа известили, что Сиерва Мария готова к процедуре изгнания демонов. Он как раз закончил обедать на террасе с желтыми колокольчиками и не уделил этой новости особенного внимания. Ел он мало, но с таким тщанием, что порой ритуал приема пищи растягивался на три часа. Сидя напротив него, отец Каэтано Делаура читал вслух размеренным голосом и в несколько театральной манере. Оба этих качества вполне отвечали книгам, которые он выбирал по собственному вкусу и разумению.

Старый дворец был чересчур велик для епископа; он довольствовался приемной комнатой, спальней и открытой террасой, где спал сиесту и принимал пищу, пока не начинался сезон дождей. В противоположном флигеле находилась церковная библиотека, заложенная, пополняемая и лелеемая трудами Каэтано Делауры; в свое время она считалась лучшей в Вест-Индии. Кроме того, в резиденции было еще одиннадцать запертых комнат, где копился двухсотлетний хлам.

За исключением монахини, которая подавала еду, лишь Каэтано Делаура допускался к епископу во время трапезы – не из-за особых привилегий, как поговаривали некоторые, а благодаря своей должности чтеца. У него не было определенных обязанностей или титулов, кроме звания библиотекаря, однако по причине близких отношений с епископом он считался де-факто викарием, и никто не сомневался, что все важные решения прелата не обходятся без его участия. Падре занимал отдельную келью в прилегающем здании, которое соединялось с дворцом внутренними коридорами; там располагались служебные

помещения и покои епархиальных сановников, там же проживало с полдюжины монахинь, которые прислуживали по хозяйству. Но истинным домом отца Делауры оставалась библиотека, где он проводил не менее четырнадцати часов в день за работой и чтением и держал раскладную койку на случай, если его сморит сон.

В тот исторический день Делаура привел епископа в изумление, сделав при чтении несколько ошибок; более того, он пропустил кусок текста и даже не заметил этого. Епископ наблюдал за ним сквозь крохотные, как у алхимика, очки, пока падре не перевернул страницу, затем удивленно спросил:

– О чем ты думаешь?

Делаура вздрогнул от неожиданности.

– Должно быть, это жара, – ответил он.

Епископ не сводил с него пристального взгляда.

– Я уверен, что дело не только в жаре, – произнес он и повторил прежним тоном: – О чем ты подумал?

– О девочке, – сказал Делаура.

Он не стал уточнять, о ком идет речь, поскольку с тех пор, как маркиз нанес епископу визит, в мире не существовало другой девочки, достойной их интереса. Они говорили о ней часами, обсуждали истории одержимых и хроники святых, которые прославились изгнанием бесов.

– Она мне приснилась, – вздохнул Делаура.

– Как может присниться человек, которого ты никогда не видел? – спросил епископ.

– Это была двенадцатилетняя маркиза креольского происхождения, с волосами, которые окутывали ее подобно королевской мантии, – ответил падре. – Кто же это, если не она?

Епископ скептически относился к божественным прозрениям, чудесам и самобичеванию; его царствие было от мира сего. Поэтому он без энтузиазма кивнул и вернулся к обеду. Делаура продолжил читать, сосредоточив внимание на книге. Когда епископ доел, он помог ему пересесть обратно в кресло-качалку. Устроившись поудобнее, прелат сказал:

– Теперь расскажи мне свой сон.

Это было просто. Делауре приснилось, что Сиерва Мария сидит у окна, глядя на покрытое снегом поле, и ест виноградины, отрывая их от грозди, что лежит у нее на коленях. На месте каждой сорванной ягоды тут же вырастает новая. Из сна явствовало, что девочка провела многие годы у этого бесконечно далекого окна, пытаясь доесть виноград, но не торопилась, ибо знала: в последней ягоде таится смерть.

– Удивительнее всего, – сказал в заключение Делаура, – что она смотрела на поле из окна в Саламанке, в ту самую зиму, когда снег падал три дня подряд и ягнята задыхались в сугробах.

Епископ растрогался. Он слишком хорошо знал и любил Каэтано Делауру, чтобы оставить без внимания загадки его сновидений. Падре честно заслужил свое место в епархии и привязанность дона Торибио многочисленными талантами и добрым нравом. Епископ прикрыл глаза, чтобы подремать три минуты в свою позднюю сиесту.

Делаура утолил голод за тем же столом, перед тем как наступил час их совместной вечерней молитвы. Он еще не закончил, когда епископ пошевелился в кресле-качалке и принял главное решение в свое жизни:

– Этим делом займешься ты.

Он произнес эти слова, не поднимая век, затем испустил храп, подобный львиному рыку. Делаура покончил с едой и занял свое обычное место под цветущими лианами. Тут епископ открыл глаза.

– Ты не ответил, – сказал он.

– Я думал, вы говорите во сне, – сказал Делаура.

– Тогда повторю это наяву: я поручаю здоровье девочки тебе.

– Это самое странное из того, что когда-либо со мной случалось, – сказал Делаура.

– Ты что, отказываешься?

– Я не экзорцист, отче. Я не обладаю нужным характером, у меня нет ни подготовки, ни знаний. К тому же, нам обоим известно, что Бог избрал для меня иной путь.

Он говорил правду. Благодаря определенным мерам, принятым епископом, Делаура входил в число троих кандидатов на пост куратора сефардского собрания в библиотеке Ватикана, о чем знали оба, но сейчас Делаура впервые затронул эту тему в разговоре с епископом.

– Тем лучше, – сказал епископ. – Дело Сиервы Марии, доведенное до благополучного конца, может стать необходимым толчком.

Делаура был неуклюж в общении с женщинами и знал об этом. Ему казалось, что все они наделены особым складом ума, который позволяет им без труда лавировать между опасностями реальной жизни. От одной лишь мысли о встрече даже с таким беззащитным ребенком, как Сиерва Мария, его ладони покрылись ледяным потом.

– Нет, ваша милость, – решительно сказал он. – Я чувствую, что непригоден для этой миссии.

– Не только пригоден, но в избытке обладаешь тем качеством, которого не хватает остальным: ты боговдохновенен.

Столь веское слово должно было остаться последним, но епископ не настаивал на немедленном согласии. Он предоставил Делауре время на раздумья до окончания страстной недели, которая началась в тот день.

– Навести девочку, – сказал он. – Изучи все, что относится к делу, потом доложи мне.

Так Каэтано Альсино дель Еспириту Санто Делаура-и-Ескудеро, тридцати шести лет отроду, вошел в жизнь Сиервы Марии и в историю города. Он стал учеником епископа, когда тот возглавлял прославленную кафедру теологии в Саламанке, и закончил университет с высочайшими почестями. Пребывая в уверенности, что его отец – прямой потомок Гарсиласо де ла Веги, к которому он питал почти религиозное благоговение, Делаура во всеуслышание об этом рассказывал. Его мать была родом из Сан-Мартин-де-Лоба в провинции Момпокс, но эмигрировала в Испанию вместе с родителями. Делаура сомневался, что хоть чем-то на нее похож, пока не оказался в Новой Гранаде и не ощутил укол наследственной ностальгии.

С самой первой беседы с Делаурой в Саламанке епископ де Касерес-и-Виртудес чувствовал, что имеет дело с одной из тех редких личностей, которые служат украшением современного христианства. Стояло морозное февральское утро, за окном виднелись запорошенные снегом поля и далекая вереница тополей вдоль реки. Зимнему ландшафту суждено было стать основой повторяющегося сна, который преследовал молодого богослова всю жизнь.

Они говорили, разумеется, о книгах, и епископ не мог поверить, что Делаура в столь юном возрасте уже столько прочитал. Он завел с епископом речь о Гарсиласо, и наставник признался, что не слишком хорошо с ним знаком и помнит как языческого поэта, который упоминает в своих творениях Господа не более двух раз.

– Гораздо чаще, – сказал Делаура, – впрочем, в эпоху Возрождения это было свойственно даже добрым католикам.

В день, когда Делаура принял постриг, наставник предложил ему отправиться вместе с ним в неспокойное королевство Юкатан, куда его назначили епископом. Делауре, черпавшему знания о жизни из книг, бескрайняя родина матери казалась сном, который никогда не станет явью. Глядя, как перепуганных ягнят выкапывают из-под снега, он не мог представить себе гнетущую жару, постоянный запах падали, болотные испарения. Епископу, который сражался в африканских войнах, это было уже знакомо.

– Я слышал, что наши священники сходят с ума от радости, приехав в Вест-Индию, – сказал Делаура.

– А некоторые вешаются, – ответил епископ. – Это королевство погрязло в содомии, идолопоклонничестве и людоедстве. Как и страна мавров, – бесстрастно добавил он.

Но, по его мнению, в этом была вся прелесть. Такие земли испытывали нужду в воителях, способных не только проповедовать в пустыне, но и нести дары христианской цивилизации. Двадцатитрехлетний Делаура, однако, полагал, что его путь одесную святого духа, к которому он питал абсолютную преданность, уже предрешен.

– Всю свою жизнь я мечтал стать главным библиотекарем, – сказал он. – Это единственное, на что я гожусь.

Он уже принял участие в публичных экзаменах на должность в Толедо, которая должна была стать первым шагом к осуществлению мечты, и не сомневался, что место достанется ему. Но епископ упорствовал.

– Библиотекарю в Юкатане легче стать святым, чем мученику в Толедо, – сказал он.

Делаура ответил без ложной скромности:

– Если на то будет воля Господа, я предпочел бы стать ангелом, а не святым.

Он не забыл о предложении своего учителя и, получив место в Толедо, все же выбрал Юкатан. Впрочем, туда епископ с Делаурой так и не добрались: после семидесятидневного плавания по бурному морю они потерпели крушение в проходе Уиндворд и были подобраны потрепанным конвойным судном, которое предоставило их на волю судьбы в Санта-Мария-ла-Антигуа, что в Дариене. Там они провели больше года, тешась пустыми надеждами, что галеоны испанского флота доставят им почту, пока де Касересу не поручили временное управление епархией по причине внезапной смерти законного епископа. Увидев исполинские джунгли Урабы с борта суденышка, которое везло их навстречу новой участи, Делаура ощутил приступ той же ностальгии, что терзала его мать мрачными толедскими зимами. Призрачные сумерки, птицы, словно выпорхнувшие из кошмарного сна, изысканное зловоние мангровых болот – все это казалось ему дорогими сердцу воспоминаниями о несуществующем прошлом.

– Только Святой Дух мог устроить все таким прекрасным образом и привести меня на родину матери, – говорил он.

Двенадцать лет спустя епископ оставил мечты о Юкатане. Прожив целых семьдесят три года, он умирал от астмы и знал, что больше никогда не увидит снегопад в Саламанке. В тот день, когда Сиерва Мария ступила на порог монастыря, он принял решение сложить с себя епископский сан, расчистив своему ученику дорогу в Рим.

На следующий день Каэтано Делаура отправился в обитель Святой Клары. Несмотря на жару, он облачился в рясу из грубой шерсти и прихватил с собой фляжку святой воды и ларчик со священным маслом – первое оружие в схватке с демоном. Аббатиса никогда прежде не видела падре, но молва о его уме и способностях уже тревожила тишину монастырских сводов. Встретив гостя в шесть утра в приемном покое, она поразилась его моложавому облику, бледности, достойной мученика, тембру голоса, загадочной седой пряди. Но никакие добродетели не могли примирить ее с тем, что он принадлежит к стану епископа. Делаура, в свою очередь, обратил внимание лишь на оглушительное петушиное кукареканье.

– Их всего шесть, но шумят они, как целая сотня, – сказала аббатиса. – Кроме того, свинья говорила человеческим голосом, а коза принесла тройню. – Потом она пылко добавила: – И так все время с тех пор, как ваш епископ оказал нам честь, прислав свой отравленный подарок.

Не меньшую тревогу вызывал у настоятельницы сад, который цвел так пышно, что это казалось ей сверхъестественным. По пути она указала Делауре на цветы поразительного размера и цвета; некоторые из них источали невыносимый запах. Одним словом, аббатиса находила противными природе самые обыденные вещи. С каждым ее словом Делаура чувствовал, что их силы неравны. Он поспешил укрепить свои позиции.

– Мы пока не убедились в том, что девочка одержима, – сказал он, – есть лишь основания подозревать, что это так.

– То, что мы наблюдаем, говорит само за себя, – возразила аббатиса.

– Будьте осторожны, – сказал Делаура, – иногда мы приписываем вещи, которых не понимаем, дьяволу, не подумав, что они могут идти от Бога.

– Я предпочитаю руководствоваться изречением Святого Фомы: «Не следует верить демонам, даже если они говорят правду», – ответила аббатиса.

На втором этаже царила отшельническая тишина. С одной стороны были пустые кельи, которые днем запирались на засов, напротив тянулся ряд окон с великолепным видом на море. Послушницы, казалось, не отвлеклись от своих занятий, однако на самом деле они провожали взглядом каждой движение аббатисы и ее гостя, пока те шли к тюремному флигелю.

По дороге в дальний конец коридора, где томилась в заточении Сиерва Мария, они миновали келью Мартины Лаборде, бывшей монахини, приговоренной к пожизненному сроку за убийство двух товарок разделочным ножом. Она так и не призналась, что ее на это толкнуло. За одиннадцать лет в тюрьме она больше прославилась неудачными попытками побега, чем самим преступлением. Мартина отказывалась признать, что пожизненное заключение ничем не отличается от монашеского затворничества, и придерживалась в этом такой последовательности, что предлагала отслужить остаток срока горничной во флигеле погребенных заживо. Она была одержима стремлением вновь стать свободной, даже если для этого придется убить кого-то еще, и вкладывала в свое желание столько же пыла, сколько в веру.

Не сдержав мальчишеского любопытства, Делаура заглянул в келью сквозь железные прутья оконной решетки. Мартина стояла к нему спиной, но, почувствовав на себе посторонний взгляд, повернулась к двери, и Делаура сразу ощутил силу ее обаяния. Смущенная аббатиса отвела его от окошка.

– Осторожно, – сказала она. – Это существо на все способно.

– Неужели она представляет опасность даже за решеткой? – спросил Делаура.

– Еще какую, – ответила аббатиса. – Будь дело за мной, я бы давно ее отпустила – монастырю от нее слишком много хлопот.

Когда надзирательница отворила дверь, из кельи Сиервы Марии вырвалось дыхание распада. Девочка лежала лицом вверх на голой каменной плите, связанная по рукам и ногам кожаными ремнями. Казалось, она мертва, лишь глаза отражали свет моря. Делаура подумал, что перед ним точная копия девочки из сна. Дрожь сотрясла все его тело, на коже проступила холодная испарина. Закрыв глаза, падре тихо прочитал молитву, вложив в нее всю мощь своей веры; закончив, он вновь обрел самообладание.

– Даже если бедное создание пока не одержимо, здешняя обстановка к этому весьма располагает, – заметил он.

– Такого упрека мы не заслужили, – отозвалась аббатиса. Действительно, все делалось для того, чтобы содержать келью в образцовой чистоте, но Сиерва Мария упорно превращала ее в навозную кучу.

– Мы сражаемся не с ней, а с демонами, которые, возможно, вселились в ее тело, – сказал Делаура.

Он вошел в келью на цыпочках, чтобы не коснуться нечистот на полу, и окропил помещение святой водой, приговаривая ритуальные молитвы. Увидев, что на стенах остаются пятна, аббатиса пришла в ужас.

– Кровь! – завопила она.

Делаура бросил вызов легковесности ее рассуждений: красный цвет жидкости еще не означает, что это кровь, а даже коли так, то необязательно из-за дьявольских происков.

– Разумнее предположить, что это чудо, а творить чудеса под силу лишь Господу, – сказал он.

Впрочем, оба варианта отпали, когда пятна на беленых стенах высохли: красный цвет сменился ярко-зеленым. Аббатиса зарделась. Не только клариссинкам, но и всем женщинам ее времени запрещалось получать формальное образование, но она происходила из семьи выдающихся богословов и великих еретиков, а значит, освоила схоластические приемы в самом нежном возрасте.

– По крайней мере, не будем отказывать демонам в элементарной способности менять цвет крови, – сказала она.

– Нет ничего полезнее, чем временное сомнение, – мгновенно парировал Делаура, взглянув на нее в упор. – Почитайте Блаженного Августина.

– Я уже прочла его с великим тщанием, – ответила аббатиса.

– Что ж, тогда перечитайте, – сказал Делаура.

Прежде чем заняться девочкой, он с безукоризненной учтивостью попросил надзирательницу покинуть келью, затем, убрав из голоса любезные нотки, обратился к аббатисе:

– Вы тоже, пожалуйста.

– Под вашу ответственность, – отрезала та.

– Высшая власть принадлежит епископу, – сказал он.

– Не стоит напоминать мне об этом лишний раз, – ответила аббатиса с оттенком сарказма. – Мы уже поняли, что вы божьи господа, а не слуги.

Делаура оставил последнее слово за ней. Присев на краешек кровати, он осмотрел девочку со скрупулезностью врача. Он все еще дрожал, но перестал обливаться потом.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что Сиерва Мария вся покрыта синяками и царапинами, а местами кожа до крови натерта ремнями. Но больше всего Делауру поразила язва на ее щиколотке, воспаленная и гноящаяся из-за невежества знахарей.

Во время осмотра Делаура объяснил девочке, что ее привезли сюда не на муки, а из опасения, что демон вселился в ее тело, дабы украсть душу. Ему необходима ее помощь, чтобы установить истину. Однако нельзя было понять, слушает ли она и понимает ли, насколько он искренен в своей просьбе.

Закончив, Делаура потребовал принести ларец с лекарствами, но не позволил сестре-аптекарше войти в келью. Он смазал раны девочки бальзамом и осторожно подул, чтобы унять жжение ссадин; его потрясло, как терпеливо она переносит боль. Сиерва Мария не отвечала на его вопросы, не проявляла никакого интереса к молитвам и ни на что не жаловалась.

Первая встреча обескуражила Делауру и не давала ему покоя, пока он не достиг тихих вод библиотеки. Это был зал без единого окна, самый просторный в епископской резиденции; вдоль стен тянулись ряды застекленных шкафов красного дерева, вмещавшие бессчетные книги, расставленные в строгом порядке. На большом столе в центре комнаты лежали мореходные карты, астролябия и другие навигационные приборы; рядом стоял глобус, испещренный приписками и исправлениями от руки, – поколения картографов добавляли их по мере того, как разрастался мир. В дальнем конце комнаты стоял грубо отесанный рабочий стол с чернильницей, перочинным ножом, индюшачьими перьями для письма, песком для промокания чернил и увядшей гвоздикой в вазе. Библиотека утопала в тени и пахла обретшей покой бумагой, здесь царили прохлада и умиротворение лесной поляны.

За небольшой загородкой у дальней стены стоял запертый шкаф с дверцами из обычных досок. Он служил тюрьмой для запрещенных книг, отвергнутых Святой Инквизицией, поскольку в них содержались «лживые и богохульные рассуждения, а также выдуманные истории». Доступ к ним имел лишь Каэтано Делаура, у которого было дарованное понтификом разрешение исследовать глубины греховной литературы.

С тех пор, как Делаура впервые увидел Сиерву Марию, его убежище, так много лет служившее тихой гаванью, превратилось в пекло. Он не встречался здесь больше с друзьями из духовных и светских кругов, которые разделяли с ним удовольствие от

чистых идей, устраивая схоластические поединки, литературные беседы и музыкальные вечера. Весь его пыл уходил на попытки разобраться в хитроумных кознях демона, пять дней и ночей, вплоть до повторного визита в монастырь, он читал и размышлял только об этом предмете. В понедельник, заметив ученика, идущего прочь твердой поступью, епископ спросил, как он себя чувствует.

– Будто Святой Дух наделил меня крыльями, – сказал Делаура.

Он надел сутану из простого хлопка, отчего преисполнился храбрости, достойной лесоруба, и заковал свою душу в латы для защиты от уныния. Эти меры оказались не напрасны: надзирательница ответила на его приветствие ворчанием, а Сиерва Мария скорчила кислую гримасу. Келью наполняла удушливая вонь, потому что пол был усеян экскрементами и объедками. На столе, рядом с алтарным светильником, стоял нетронутый обед. Падре взял тарелку, зачерпнул ложкой черные бобы в застывшей подливе и протянул Сиерве Марии. Она отвернулась. Делаура несколько раз повторил свою попытку, но реакция девочки оставалась неизменной. Тогда он положил бобы себе в рот, попробовал их и проглотил не жуя, всем своим видом демонстрируя отвращение.

– Ты права, – сказал он девочке. – Какая гадость!

Сиерва Мария не удостоила его ни малейшего внимания. Когда он начал обрабатывать ее больную щиколотку, девочка судорожно дернулась, глаза ее наполнились слезами. Думая, что она покорилась, Делаура ласково забормотал, как добрый пастырь, и даже решился ослабить путы, чтобы дать ее измученному телу небольшую передышку. Девочка пошевелила пальцами, проверяя, на месте ли они, вытянула ноги, онемевшие от ремней. Потом она в первый раз посмотрела на Делауру, взвесила его, измерила и кинулась на него точным броском загнанного зверя.

Надзирательница помогла скрутить ее и вновь затянула ремни. Перед тем, как уйти, Делаура достал из кармана сандаловые четки и повесил их поверх сантерийских бус Сиервы Марии.

Епископ встревожился, увидев своего ученика с исцарапанным лицом и укусом на руке, один вид которого вывел его из равновесия. Еще сильнее прелата обеспокоило поведение Делауры: тот выставлял свои раны напоказ, как боевые трофеи, и отпускал шутки насчет возможного заражения бешенством. Тем не менее, личный врач епископа отнесся к царапинам со всей серьезностью, так как был из числа тех, кто опасался, что затмение в грядущий понедельник предвещает великие беды.

Убийца Мартина Лаборде, напротив, не встретила со стороны Сиервы Марии никакого сопротивления. Войдя в ее келью на цыпочках, словно по чистой случайности, она увидела, что девочка лежит на кровати, связанная по ногам и рукам. Сиерва Мария приготовилась защищаться и не спускала с гостьи настороженного взгляда, пока Мартина не улыбнулась. Тогда девочка улыбнулась в ответ и безоговорочно капитулировала. Келью будто заполнил дух Доминги де Адвиенто.

Мартина рассказала девочке, кто она и почему должна сидеть здесь до скончания века, хоть и охрипла, крича о своей невиновности. Когда она спросила, за что сюда попала Сиерва Мария, та повторила единственное, что поняла из речей своего экзорциста:

– Во мне сидит дьявол.

Мартина не стала задавать других вопросов, решив, что девочка врет или повторяет чужую ложь, и даже не догадываясь, что она – одна из немногих белых женщин, которым Сиерва Мария говорила правду. Она показала ей, как вышивать, и девочка попросила освободить ее, чтобы попробовать самой. Мартина извлекла из кармана своей робы ножницы, которые носила с собой вместе с остальными принадлежностями для шитья.

– Все, чего ты хочешь, – это чтобы я тебя развязала, – сказала она. – Предупреждаю: если причинишь мне вред, я легко могу убить тебя.

Сиерва Мария не сомневалась, что она сдержит слово. Получив свободу, девочка повторила урок вышивки с той же сноровкой и точностью, с какой выучилась играть на

теорбе. Перед уходом Мартина обещала ей добиться разрешения вместе поглядеть на полное затмение солнца в следующий понедельник.

В пятницу на рассвете город покинули ласточки, описав в небе широкий круг и обрушив на улицы и крыши зловонный снегопад цвета индиго. Есть и спать было затруднительно, пока полуденное солнце не высушило клейкие испражнения, а вечерний бриз не очистил воздух. Впрочем, страхи горожан никуда не делись: никто еще не видал, чтобы ласточки гадили на лету, а вонь их помета нарушала течение городской жизни.

В монастыре, само собой, никто не сомневался, что Сиерве Марии под силу изменить законы птичьей миграции. Явившись в обитель после воскресной мессы, Делаура кожей чувствовал напряжение в воздухе, пока нес через сад корзинку со сладостями, купленными в торговых рядах. Сиерва Мария сохраняла отрешенное выражение лица. Сандаловые четки по-прежнему обвивали ее шею, однако она не ответила на приветствие Делауры и не удостоила его взглядом. Он сел рядом с ней, с наслаждением откусил от булочки и сказал с полным ртом:

– Божественно!

Он поднес вторую половину булочки к губам Сиервы Марии. Она дернула головой, но не отвернулась к стене, как прежде, а знаком указала Делауре, что надзирательница шпионит за ними. Он сделал выразительный жест в сторону двери и скомандовал:

– Вон оттуда!

Когда надзирательница удалилась, девочка попыталась утолить привычный голод остатком булочки, но тут же принялась плеваться.

– На вкус как ласточкино дерьмо, – заявила она.

Впрочем, ее настроение все же изменилось. Она не сопротивлялась, когда Делаура смазывал болезненные ссадины на ее спине, и в первый раз обратила на него внимание, заметив перевязанную руку. С обезоруживающе невинным видом она спросила, чем он поранился.

– Меня укусила бешеная собачка с хвостом длиною в метр.

Сиерва Мария захотела посмотреть на рану. Делаура снял бинты; она осторожно потрогала указательным пальцем багровый рубец, словно то был раскаленный уголь, и впервые рассмеялась.

– Я хуже чумы, – сказала она.

Вместо того, чтобы процитировать Евангелие, Делаура ответил строкой Гарсиласо:

– «Посылай испытания каждому по силам его».

Его сжигало пламя откровения о чем-то огромном и непоправимом, что вошло в его жизнь. Когда Делаура вышел из кельи, надзирательница напомнила ему от имени аббатисы, что в монастырь запрещено проносить уличную снедь, поскольку она может быть отравлена, как во времена осады. Делаура солгал, что принес корзинку с позволения епископа, и подал официальную жалобу, где отметил, что в обители, которая славится изысканной кухней, затворникам подают дурную пищу.

За ужином он читал епископу вслух с удвоенным рвением. Присоединившись, как всегда, к вечерней молитве наставника, он прикрыл глаза, чтобы удобнее было вспоминать о Сиерве Марии. В тот вечер он ушел в библиотеку раньше, чем обычно, все еще думая о девочке, и чем дольше он предавался этим мыслям, тем сильнее было желание думать о ней и впредь. Он декламировал вслух любовные сонеты Гарсиласо, мучимый подозрением, что в каждом стихе кроется загадочное предзнаменование, связанное с его жизнью. Делауре не спалось всю ночь, а на заре он растянулся на рабочем столе, уткнувшись лбом в книгу, которую так и не раскрыл. Из сонных глубин он внимал ночным службам и заутрене, которые доносились из соседнего алтаря.

– Спаси тебя Господь, Мария де Тодос лос Анхелес, – сказал он во сне.

Звук собственного голоса заставил Делауру встрепенуться, и тут он увидел Сиерву Марию в тюремной рубашке, с огненными волосами, ниспадающими на плечи; она взяла

увядшую гвоздику и поставила в вазу на письменном столе букет едва распустившихся гардений. Делаура, призвав на помощь Гарсиласо, пылко сказал ей:

– «Рожденный ради вас, живущий вами, я из-за вас приму — приемлю! — смерть».

Сиерва Мария улыбнулась, не глядя на него. Делаура смежил веки, дабы увериться, что это не иллюзия, вызванная игрой тени и света. Когда он вновь открыл глаза, видение исчезло, но воздух в библиотеке благоухал ее гардениями.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Епископ пригласил отца Каэтано Делауру наблюдать за солнечным затмением под сенью желтых колокольчиков, так как терраса была единственным местом в доме, откуда открывался вид на океанские просторы. Пеликаны, неподвижно висевшие в воздухе на распростертых крыльях, казалось, испустили дух на лету. Епископ, только что завершивший сиесту, медленно обмахивался веером в гамаке, подвешенном при помощи кабестанов на двух потолочных балках. Делаура сидел рядом с ним в плетеном кресле-качалке. Оба пребывали в умиротворенном состоянии, попивая тамариндовую воду и глядя поверх крыш на безоблачную ширь. Сразу после двух стемнело, курицы уселись на свои насесты, все звезды разом высыпали на небосклон. Землю сотряс потусторонний трепет. Епископ услышал хлопанье крыльев: запоздалые голуби искали во тьме свои гнезда.

– Господь велик, – сказал он со вздохом. – Это чувствуют даже птицы.

Монахиня-прислужница принесла свечу и несколько кусков закопченного стекла, чтобы глядеть на солнце. Поудобнее усевшись в гамаке, епископ приступил к созерцанию.

– Гляди одним глазом, иначе можешь лишиться обоих, – посоветовал он, с трудом сдерживая свистящее дыхание.

Держа стеклышко в руке, Делаура смотрел куда-то в сторону. После долгого молчания епископ смерил ученика внимательным взглядом и не обнаружил в его лучистых глазах ни капли интереса к волшебству фальшивой ночи.

– О чем ты думаешь? – спросил он.

Делаура не ответил. Посмотрев на солнце, он увидел взамен убывающую луну, которая обожгла ему сетчатку даже сквозь темное стекло, но не отвел глаз.

– Ты все еще думаешь о девочке, – произнес епископ.

Каэтано вздрогнул, хотя прелат и раньше высказывал эту догадку подозрительно часто.

– Я размышлял о том, что простые люди наверняка припишут свои несчастья затмению, – сказал он.

Епископ покачал головой, не отрываясь от небосклона.

– Как знать, быть может, они и правы. В карты Господа нелегко заглянуть.

– Ассирийские звездочеты предсказали этот феномен тысячи лет назад, – заметил Делаура.

– Ответ, достойный иезуита, – сказал епископ.

Каэтано продолжал наблюдать за солнцем, по чистой рассеянности забыв о стеклышке. В двенадцать минут третьего светило приняло вид идеального черного диска, и на мгновение средь бела дня сгустилась полночь. Потом затмение пошло на убыль, повинуясь движению земного шара, и петухи возвестили о приходе зари. Когда Делаура опустил взгляд, на его сетчатке все еще пылал огненный круг.

– Я по-прежнему вижу затмение, куда бы ни смотрел, – удивленно сказал он.

Епископ счел спектакль законченным.

– Пройдет через несколько часов, – ответил он, затем зевнул, потянулся и сел в своем гамаке, чтобы воздать Богу хвалу за новый день.

Делаура не утратил нить беседы.

– При всем почтении, отче, – сказал он, – я не верю, что девочка одержима.

На этот раз епископ встревожился не на шутку.

– Почему ты так говоришь?

– Думаю, она просто испугана.

– У нас предостаточно доказательств, – напомнил епископ. – Разве ты не читал протоколы?

Да, Каэтано Делаура изучил их со всем вниманием, но они гораздо больше говорили об умственных способностях аббатисы, чем о состоянии Сиервы Марии. Клариссинки провели обряд изгнания бесов везде, где находилась девочка в день своего прибытия в монастырь, не забыв о предметах, которых она коснулась. Всем, кто с ней общался, надлежало блюсти пост и читать очистительные молитвы. Послушницу, отнявшую у нее кольцо, приговорили к исправительным работам в саду. В протоколах значилось, что Сиерва Мария с упоением разделала козла, которого перед тем собственноручно прирезала, а потом съела его глаза и яички со жгучими, как огонь, приправами. У нее обнаружился талант к языкам, благодаря чему она болтала с африканцами всех племен свободнее, чем они сами между собой, а еще говорила с животными. На следующий день после ее появления одиннадцать ручных ара, которые служили украшением сада в течение двадцати лет, издохли без всякой видимой причины. Она околдовала слуг бесовскими песнями, распевая на разные голоса. Узнав, что ее ищет аббатиса, девочка стала невидимой лишь для нее одной.

– Я все же уверен: то, что кажется нам дьявольскими уловками, на самом деле всего лишь негритянские повадки, которые девочка усвоила из-за небрежения родителей, – сказал Делаура.

– Будь осторожен! – предупредил его епископ. – Наш разум на руку Врагу в большей степени, чем наши заблуждения.

– В таком случае, изгнание бесов из здорового ребенка – лучший подарок из тех, что мы можем ему сделать, – возразил Делаура.

Епископ ощетинился.

– Как это следует понимать? Ты впал в неповиновение?

– Это следует понимать так, что я усомнился, отче, – сказал Делаура. – Но подчинюсь вам со всем смирением.

И он вновь отправился в монастырь, так и не убедив епископа. На левом глазу у него красовался пластырь, который доктор велел носить, пока отпечаток солнца не исчезнет с сетчатки. Шагая через сад и по многочисленным коридорам, что вели к тюремному флигелю, он ловил на себе взгляды, однако никто не заговорил с ним. Похоже, обитель еще не пришла в себя после солнечного затмения.

Когда надзирательница отперла келью Сиервы Марии, Делаура почувствовал, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди, и с трудом удержался на ногах. Желая разведать, в каком девочка настроении, падре спросил, видела ли она затмение. Оказалось, что она смотрела на это зрелище с террасы. Сиерва Мария удивилась повязке на его глазу – сама она смотрела на солнце без всяких предосторожностей и ничуть не пострадала. По ее словам, монахини простояли все время на коленях, а когда раздался петушиный крик, всю обитель словно парализовало. Девочка, однако, не находила в этом явлении ничего сверхъестественного.

– Я такое вижу каждую ночь, – сказала она.

Сиерва Мария неуловимо изменилась, и Делаура никак не мог определить, в чем дело, – разве что ему померещилась тень печали. Падре не ошибся: когда он приступил к обработке ран, девочка подняла на него тревожный взгляд и сказала дрожащим голосом:

– Я скоро умру.

Делаура опешил.

– Кто сказал тебе это?

– Мартина.

– Ты с ней виделась?

Сиерва Мария поведала ему, что Мартина уже дважды приходила сюда обучать ее искусству вышивки и они вместе смотрели на затмение. Она сказала, что Мартина добрая и милая, и что аббатиса разрешила ей давать уроки рукоделия на террасе, где видно, как сумерки опускаются над морем.

– Вот как, – отозвался он не моргнув, – Значит, она сказала, что ты скоро умрешь?

Девочка кивнула, плотно сжав губы, чтобы не заплакать:

– После затмения.

– То есть в ближайшие сто лет, – сказал Делаура. Впрочем, ему пришлось сосредоточиться на ее ссадинах, чтобы скрыть комок в горле. Сиерва Мария не отвечала. Ее молчание озадачило Делауру; вновь посмотрев на девочку, он обнаружил, что у нее глаза на мокром месте.

– Мне страшно, – сказала она, затем бросилась на постель и разразилась пронзительными рыданиями. Делаура подсел поближе и попытался утешить ее речами, подобающими духовнику. Так Сиерва Мария узнала, что он не врач, а экзорцист.

– Тогда зачем ты лечишь меня? – спросила она.

Его голос дрогнул:

– Потому что очень тебя люблю.

Она и не подозревала, сколько ему понадобилось отваги.

Покинув Сиерву Марию, Делаура остановился у кельи Мартины. Он в первый раз увидел ее вблизи и заметил, что у нее бритая голова, следы оспы на лице, чересчур длинный нос и мелкие крысиные зубы, но при этом от нее исходит мощная, почти осязаемая волна соблазна. Делаура предпочел обратиться к ней от порога.

– У бедной девочки достаточно причин для испуга, – сказал он. – Прошу вас, не добавляйте к ним новых.

Мартина растерялась. Ей бы и в голову не пришло предсказывать кому-то день смерти, тем более существу столь трогательному и беззащитному. Она лишь попросила Сиерву Марию рассказать о себе, но после трех-четырех ответов сообразила, что та по привычке лжет. Мартина говорила так серьезно, что Делаура понял: Сиерва Мария солгала и ему. Он извинился перед узницей за опрометчивость и попросил ее не требовать у девочки объяснений.

– Я знаю, что делать, – заключил он.

Мартина окутала его своими чарами.

– Мне известно, кто вы, ваше преподобие, – сказала она, – и я уверена, что вы всегда прекрасно знаете, как следует поступить.

Но Делауру слишком глубоко ранила мысль о том, что Сиерва Мария не нуждалась в посторонней помощи, чтобы терзаться страхом смерти в одиночестве своей кельи.

На той же неделе мать Хосефа Миранда направила епископу официальную ноту с жалобами и протестами, написанную от руки ею лично. Аббатиса просила освободить клариссинок от опеки над Сиервой Марией – поручения, которое она рассматривала как запоздалую кару за старые грехи, уже неоднократно искупленные. Она составила новый список невероятных происшествий, занесенных в протоколы и могущих быть лишь последствиями бесстыдного союза девочки с демоном, и закончила письмо гневным обличением Каэтано Делауры в заносчивости, вольнодумстве, личной неприязни к ней и возмутительном пренебрежении уставом, которое выражалось в том, что он проносил в монастырь еду.

Епископ вручил послание ученику, как только тот вернулся домой, и Делаура прочитал его, не сходя с места и не двинув ни единым мускулом лица. Закончив чтение, он был вне себя от ярости:

– Если кто и одержим всеми демонами ада, то это Хосефа Миранда! Демонами злобы, нетерпимости, слабоумия. Она отвратительна!

Епископ поразился его горячности. Заметив это, Делаура сбавил тон.

– Я имею в виду, она приписывает силам зла такую власть, что кажется почитательницей дьявола.

– Мое звание не позволяет мне согласиться, – ответил епископ, – хотя я бы не возражал.

Он сделал Делауре выговор за все злоупотребления, которые тот, возможно, допустил, и попросил его с терпением отнестись к ужасному характеру аббатисы.

– В Евангелии полно женщин, подобных ей, и даже с худшими недостатками, – сказал он, – и все же Иисус вознес их на небо.

Ему не дал продолжить удар грома, сотрясший весь дом и прокатившийся дальше к морю, затем хлынул библейский ливень, который отрезал их от остального мира. Откинувшись на спинку кресла-качалки, епископ ударился в ностальгию.

– Как мы далеко! – вздохнул он.

– От чего?

– От самих себя. Человеку может потребоваться год на осознание того, что он осиротел. Тебе не кажется это нелепым? – Не получив ответа, епископ сознался, что его одолевает тоска по дому: – Меня ужасает одна мысль о том, что в Испании сейчас уже пора вставать.

– Нам не под силу препятствовать вращению земли, – сказал Делаура.

– Но мы могли хотя бы оставаться в неведении, чтобы не горевать, – отозвался епископ. – У Галилея отсутствовала не только вера, но и сердце.

Делаура был хорошо знаком с подобными приступами, они мучили епископа мрачными дождливыми вечерами с тех пор, как подкралась старость. Все, что он мог – отвлекать наставника от меланхолии, пока того не сморит сон.

В конце месяца было объявлено о предстоящем визите нового вице-короля, дона Родриго де Буэн Лозано, который следовал в Санта-Фе-де-Богота, чтобы занять свой пост. Он путешествовал со свитой чиновников и судей, слуг и придворных врачей, и вез с собой струнный квартет – подарок королевы, призванный уберечь его от вест-индской скуки. Вице-королева, дальняя родственница аббатисы, пожелала остановиться в монастыре.

О Сиерве Марии позабыли за кипячением извести и смолы. Повсюду разносились докучливые удары молотка и громкая брань разношерстного люда, заполонившего всю обитель, кроме флигеля затворниц. Когда с оглушительным грохотом рухнули подмостки, придавив каменщика и покалечив еще семерых рабочих, аббатиса приписала несчастье злокозненным чарам Сиервы Марии и, пользуясь случаем, потребовала отослать девочку в другой монастырь до окончания торжеств. На сей раз она сделала упор на нежелательность близкого соседства вице-королевы с бесноватой. Епископ ничего не ответил.

Дон Родриго де Буэн Лозано, мужественный и статный астуриец, чемпион по игре в пелоту и охоте на куропаток, компенсировал двадцатидвухлетнюю разницу в возрасте с женой многочисленными достоинствами. Когда он смеялся, даже над самим собой, хохот сотрясал все его тело, которое он демонстрировал при любой возможности. Едва почуяв карибский бриз, донесший стук ночных барабанов и аромат спелой гуавы, он скинул весенние одежды и с тех пор щеголял голым торсом, прохаживаясь среди дам, стайками собиравшихся на палубе. На берег он сошел столь же непринужденно, без речей и залпов из ломбардской пушки. В его честь позволили играть фанданго, бунде и кумбию, запрещенные епископом, а кроме того, устроили корриду и петушиные бои.

Вице-королева, деятельная, порой озорная барышня, только вышедшая из отрочества, ворвалась в монастырь, как ветер перемен. Ни один уголок не укрылся от ее взгляда, ни одна проблема не осталась без внимания; все, что было в монастыре хорошего, она желала сделать еще лучше. Снуя по обители, она вникала во все с рвением юной послушницы, так что аббатиса сочла благоразумным отговорить ее от посещения карцера.

– Там не на что смотреть, – сказала она, – всего две узницы, причем одна из них бесноватая.

Этого хватило, чтобы подстегнуть любопытство вице-королевы. Ее вовсе не беспокоило, что в тюрьме не прибрано, а заключенных не предупредили о визите. Едва отперли дверь в келью Мартины Лаборде, как она бросилась к ногам вице-королевы, моля о помиловании. После двух попыток побега, одна из которых удалась, получить его было не так-то просто. Впервые она сбежала шесть лет назад, через террасу с видом на море, в компании трех других монахинь, приговоренных к разнообразным карам за свои проступки. Одной из них удалось вырваться на свободу, после чего окна забрали решетками, а дворик под террасой обнесли стеной. Годом позже три оставшиеся узницы скрутили надзирательницу, которая в то время спала в их флигеле, и выбрались наружу через дверь для прислуги. Родные Мартины послушались своего духовника и привели ее обратно в монастырь. В течение долгих четырех лет ей одной было отказано в праве принимать посетителей и слушать воскресную мессу в часовне. Казалось, помилование невозможно, тем не менее, вице-королева обещала замолвить за нее словечко перед мужем.

В келье Сиервы Марии все еще резко пахло известью и непросохшей смолой, однако новый порядок уже воцарился и здесь. Как только надзирательница отворила дверь, вице-королева ощутила колдовское дыхание ледяного ветра. В углу, озаренном собственным светом, сидела Сиерва Мария в рваной тунике и запачканных туфлях, неторопливо орудуя иглой. Она не поднимала головы, пока вице-королева ее не поприветствовала. В глазах девочки она увидела неодолимую силу откровения.

– Клянусь святым причастием! – пробормотала она и шагнула вперед.

– Осторожно! Это сущая тигрица, – шепнула аббатиса, схватив ее за руку.

Вице-королева так и не вошла в келью, но одного взгляда на Сиерву Марию ей было достаточно, чтобы принять решение спасти девочку.

Губернатор, изнеженный холостяк, дал в честь вице-короля званый обед только для мужчин. Играл струнный квартет из Испании, ему вторили барабаны и волынки из Сан-Хасинто, переодетые негры плясали, грубо пародируя танцы белых. В заключение поднялся занавес в дальнем конце зала, и взглядам публики предстала абиссинская рабыня, купленная губернатором на вес золота. На ней была почти прозрачная туника, которая лишь подчеркивала ее грозную наготу. Показав себя гостям попроще, она остановилась перед вице-королем, и туника скользнула к ее ногам.

Совершенство абиссинки пугало. Клеймо работорговца не оскверняло ее плеча, на спине отсутствовали выжженные инициалы первого владельца, и все ее существо дышало чувственностью. Вице-король побледнел, перевел дух и стер одним движением руки невыносимое зрелище из своей памяти.

– Бога ради, уберите ее прочь! – приказал он. – Видеть ее не хочу до конца своих дней.

Быть может, в отместку за фривольную выходку губернатора вице-королева привела Сиерву Марию на обед, устроенный аббатисой в ее личной столовой. Мартина Лаборде предупредила:

– Не пытайтесь снять с нее ожерелья и браслеты – увидите, как хорошо она будет себя вести.

Так и вышло. Сиерву Марию нарядили в бабушкино платье, в котором она прибыла в монастырь, вымыли и расчесали ее распущенные волосы, так что они шлейфом тянулись по полу, и вице-королева лично подвела ее за руку к столу своего мужа. Даже аббатиса поразилась изяществу девочки, блеску ее красоты, чуду ее волос. Вице-королева прошептала на ухо супругу:

– В нее вселился демон.

Вице-король не поверил своим ушам. В Бургосе он видел однажды бесноватую, которая беспрестанно испражнялась в течение целой ночи, пока нечистоты не потекли из комнаты. Опасаясь, что Сиерву Марию постигнет та же судьба, он велел своим лекарям осмотреть ее. Те не обнаружили никаких признаков бешенства и согласились с мнением Абренунцио, что девочка вряд ли заболеет и впредь, однако ни один из них не осмелился усомниться в том, что она одержима дьяволом.

Епископ воспользовался торжествами, чтобы поразмыслить над посланием аббатисы и дальнейшей судьбой Сиервы Марии. Каэтано Делаура, в свою очередь, вознамерился пройти очищение, необходимое перед обрядом экзорцизма, и заперся в своей библиотеке, взяв с собой лишь маниокового хлеба и воды. Тщетно – все безумные ночи и бессонные дни напролет он писал разнузданные стихи, ибо лишь они усмиряли неистовые желания его тела.

Когда библиотеку разбирали неполное столетие спустя, некоторые из его стихотворений обнаружились среди кипы страниц, почти не поддающихся прочтению. В первом из них, единственном, которое удалось разобрать целиком, Делаура предавался воспоминаниям о том, как в двенадцать лет сидел на ученическом сундуке под весенним дождиком посреди мощеного двора семинарии в Авиле. Он только что прибыл из Толедо, проведя несколько дней на спине мула, в ушитой по росту отцовской одежде и с дорожным сундуком весом в два раза больше, чем он сам, потому что мать уложила туда все, что могло ему понадобиться для достойной жизни во все годы ученичества. Носильщик помог мальчику донести багаж до середины двора и оставил его на произвол судьбы под дождем.

– Неси свои пожитки на третий этаж, – сказал он на прощанье, – там тебе покажут твое место в спальне.

Тут же вся семинария высыпала на балконы, выходящие во двор, желая поглядеть, что Каэтано будет делать со своим сундуком, словно он был главным героем пьесы, знакомой только зрителям. Убедившись, что помощи ждать неоткуда, он вынул столько вещей, сколько мог унести, и потащил их на третий этаж по крутым ступенькам из скальной породы. Проктор указал, где его место в спальне с двумя рядами кроватей, и Каэтано сложил туда свой груз, а потом вернулся во двор и поднялся наверх еще четыре раза, пока не перенес все свое имущество. Наконец, он втащил по лестнице пустой сундук, волоча его за ручку.

Учителя и воспитанники, столпившиеся на балконах, не следили за его восхождением, но когда Каэтано появился со своим сундуком на площадке третьего этажа, там ждал его отец ректор. Он встретил новенького аплодисментами, остальные присоединились и устроили Каэтано бурную овацию. Так он понял, что с честью выдержал первый обряд посвящения в семинаристы – отнес свой скарб в общую спальню, не задавая вопросов и не прося о помощи. Его сообразительность, добрый нрав и твердый характер ставили в пример другим ученикам.

Однако самое глубокое впечатление на него произвела беседа, состоявшаяся в первый же вечер в кабинете ректора, который вызвал Каэтано, чтобы обсудить одну книгу, найденную в его сундуке, с рваным переплетом и без титульного листа – в том виде, в каком он обнаружил ее среди вещей отца. За ночи пути он прочел, сколько смог, и ему не терпелось добраться до финала. Отец ректор поинтересовался его мнением насчет книги.

– Узнаю, когда дочитаю до конца, – ответил Каэтано.

С улыбкой облегчения ректор запер фолиант в шкафу.

– Значит, не узнаешь никогда, – сказал он. – Это запрещенная книга.

Двадцать четыре года спустя, в полумраке епархиальной библиотеки Каэтано осознал, что прочел от корки до корки все книги, попавшие ему в руки, как дозволенные,

так и запретные, кроме одной-единственной. Он содрогнулся от ощущения, что целая жизнь подошла в тот день к концу и начинается новая, непредсказуемая.

На восьмой день своего поста Делаура уже приступил к вечерней молитве, когда ему сообщили, что епископ ждет его в гостиной по случаю приезда вице-короля. Визит был неожиданным даже для самого гостя. Эта вздорная идея пришла ему в голову во время первой прогулки по городу: он решил, что непременно должен взглянуть на крыши с увитой цветами террасы; между тем сановникам, живущим неподалеку, рассылались срочные весточки, а в гостиной на скорую руку наводили порядок.

Епископ принял вице-короля в обществе шести клириков из своего главного штаба. Он усадил Каэтано Делауру справа от себя и представил его, назвав лишь полное имя. Прежде чем приступить к беседе, вице-король окинул сочувственным взглядом облезлые стены, рваные занавеси, дешевую мебель туземной работы и священнослужителей, нещадно потевших в своем убогом облачении.

– Мы – сыновья Иосифа-Плотника, – тоном уязвленной гордости заявил епископ. Понимающе кивнув, вице-король перешел к впечатлениям первой недели. Он говорил о несбыточных планах укрепить торговые узы с Английскими Антилами, коль скоро затянулись раны былой войны, о благе государственного вмешательства в систему образования, о поощрении изящных искусств и литературы – одним словом, о необходимости подтянуть колониальные форпосты до уровня остального мира.

– Пришло время обновления, – сказал он.

Епископ очередной раз убедился в поверхностной природе светской власти. Не глядя на Делауру, он вытянул дрожащий палец в его сторону и сказал вице-королю:

– Падре Каэтано в курсе этих новшеств.

Посмотрев в указанном направлении, вице-король встретился с напряженным немигающим взглядом бесстрастных глаз. Он спросил Делауру с искренним интересом:

– Вы читали Лейбница?

– Да, ваше сиятельство, – ответил Делаура и уточнил: – Это входит в мои обязанности.

К концу визита стало ясно, что больше всего вице-короля занимало дело Сиервы Марии, – как он объяснил, из сочувствия к самой девочке и заботы о душевном спокойствии аббатисы, чьи страдания тронули его.

– Пока нам не хватает исчерпывающих доказательств, но из монастырских актов следует, что бедное создание одержимо демоном, – сказал епископ. – Аббатиса знает об этом лучше нас.

– Она думает, что вы угодили в дьявольские сети, – заметил вице-король.

– Не только мы, но и вся Испания, – ответил епископ. – Мы пересекли океанские просторы, чтобы нести закон Христов, мы устраивали мессы, шествия и праздники в честь святых покровителей, но не достигли душ людских.

Он завел речь о Юкатане, где на месте языческих пирамид воздвигли пышные соборы, не подозревая, что туземцы приходят к мессе лишь потому, что под серебряными алтарями по-прежнему живы их святыни; упомянул о беспорядочном кровосмесительстве, продолжавшемся со времен конкисты: испанская кровь мешалась с индейской, причем обе порой разбавлялись негритянскими кровями всех сортов, не исключая мусульман мандинго. Он спрашивал себя, допустимы ли подобные браки в Божьем королевстве. Несмотря на трудное дыхание и старческий кашель, он завершил, не дав вице-королю вставить ни слова:

– Что же это, как не дьявольские сети?

Вице-король переменился в лице.

– Разочарование вашей милости достигло предела, – сказал он.

– Взгляните на это с другой стороны, ваше сиятельство, – с безукоризненной учтивостью ответил епископ. – Я всего лишь пытаюсь объяснить, какой силы вера нам нужна, чтобы эти народы оказались достойны наших жертв.

Вице-король вернулся к исходному вопросу.

– Насколько я понимаю, опасения аббатисы вполне практического свойства, – сказал он. – Она полагает, что другие монастыри, возможно, лучше справятся с таким сложным случаем.

– Что ж, вашей светлости должно быть известно, что мы без секунды колебания выбрали обитель святой Клары именно благодаря стойкости, силе и авторитету Хосефы Миранды, – ответил епископ. – Господь свидетель, мы не ошиблись.

– Да будет мне позволено передать ей ваши слова, – произнес вице-король.

– Она обо всем прекрасно знает, – сказал епископ. – Меня беспокоит лишь причина, по которой она не решается в это поверить.

Не успев договорить, он почувствовал, что приближается неизбежный приступ астмы, и поспешил закончить встречу. Рассказав об официальной ноте протеста, полученной от аббатисы, он пообещал разрешить все вопросы с истинно пастырской любовью, как только отступит недуг. Вице-король поблагодарил его и завершил свой визит, оказав прелату личную любезность. Он тоже страдал от докучливой астмы и предложил епископу услуги своих врачей. Тот счел хлопоты излишними:

– Лишь воля Божья удерживает меня в этом мире. Я достиг возраста, в котором умерла Пресвятая Дева.

В отличие от приветствий, прощание было продолжительным и церемонным. Трое священнослужителей, включая Делауру, в молчании проводили вице-короля по мрачным коридорам к выходу. Почетная стража держала нищих на расстоянии, скрестив алебарды сплошной стеной. Прежде чем сесть в карету, вице-король повернулся к Делауре, решительно ткнул в него пальцем и сказал:

– Не дай мне тебя забыть!

Его слова прозвучали столь загадочно и неожиданно, что Делауре не оставалось ничего иного, как поклониться в ответ.

Вице-король покатил в монастырь, чтобы сообщить аббатисе об итогах визита. Несколько часов спустя, незадолго до отъезда, он отказал в помиловании Мартине Лаборде, вопреки настойчивым мольбам жены, поскольку решил, что это создаст дурной прецедент для множества иных узников, осужденных за меньшие преступления, которых он видел в других темницах.

В отсутствие Делауры епископ прикрыл глаза и подался вперед, силясь сдержать хриплое дыхание. Его помощники удалились на цыпочках, гостиная утопала в тени. Когда епископ поднял голову, он увидел вереницу пустых стульев вдоль стены и одинокого Каэтано. Едва слышным голосом он спросил:

– Встречали ли мы прежде столь прекрасного человека?

Делаура ответил неопределенным жестом. С трудом выпрямившись в кресле, епископ оперся на подлокотник и подождал, пока восстановится дыхание. Он отказался от ужина. Делаура принес свечу, чтобы проводить его в опочивальню.

– Мы плохо обошлись с вице-королем, – сказал прелат.

– Разве могло быть иначе? – спросил Делаура. – Кто же стучится в дверь епископа без предупреждения.

Епископ не согласился и с горячностью возразил:

– Моя дверь – дверь церкви, и он явился ко мне, как христианин былых времен. Я был с ним дерзок из-за болезни, сидящей в моей груди. Теперь я должен загладить свою вину.

Добравшись до спальни, епископ сменил тон и тему разговора; он пожелал Делауре спокойной ночи, дружески похлопав его по плечу.

– Молись за меня этой ночью, – сказал он. – Боюсь, она будет долгой.

Он и впрямь ощутил, что приступ астмы, давший о себе знать во время вице-королевского визита, вот-вот убьет его. Поскольку рвотный камень и другие экстренные

средства не дали результата, пришлось прибегнуть к срочному кровопусканию. К рассвету епископ вернулся в боевое расположение духа.

Каэтано провел бессонную ночь в библиотеке, ни о чем не подозревая. Едва он приступил к утренним молитвам, как ему сообщили, что епископ ожидает его в своей опочивальне. Сидя в постели, прелат завтракал хлебом и сыром с чашкой шоколада, дыша громко, как новые кузнечные мехи. Он был в приподнятом настроении. Каэтано хватило одного взгляда, чтобы понять: епископ принял решение.

Так оно и было: несмотря на просьбы аббатисы, Сиерва Мария оставалась в обители святой Клары, и отцу Каэтано Делауре, облеченному полным доверием епископа, надлежало и впредь вести ее дело. Тюремный режим отменялся, девочка получала право пользоваться теми же благами, что и прочие обитатели монастыря. Епископ благодарил за протоколы, однако недостаточно четкие записи не вносили ясности в расследование, а потому экзорцисту поручалось действовать по собственному разумению. В завершение он велел Делауре нанести маркизу визит от его имени, наделив полномочиями для решения всех вопросов, до тех пор, пока сам епископ не найдет времени и сил для аудиенции.

– Других указаний не будет, – сказал он под конец. – Благослови тебя Господь.

С бешено колотящимся сердцем Каэтано помчался в монастырь, но не нашел Сиерву Марию в келье. Она была в зале для официальных приемов – в убранстве из драгоценных камней, с распущенными волосами до пят – и позировала с изысканным достоинством негритянки знаменитому портретисту из свиты вице-короля. Чуткость, с какой она следовала указаниям живописца, вызывала не меньшее восхищение, чем ее красота. Каэтано пришел в экстаз. Сидя в тени, он глядел на нее, оставаясь невидимым, и этого времени хватило ему, чтобы стереть все сомнения из своего сердца.

К часу девятой молитвы портрет был готов. Художник критически осмотрел его издали, положил два-три финальных мазка и, прежде чем написать свое имя, попросил Сиерву Марию взглянуть на картину. Он добился идеального сходства; девочка стояла на облаке, окруженная сонмом покорных демонов. Узнав саму себя в блеске юных лет, Сиерва Мария долго изучала полотно. Наконец она сказала:

– Будто смотрюсь в зеркало.

– А демоны? – спросил живописец.

– Именно так они и выглядят, – ответила девочка.

Сеанс был окончен, и Каэтано проводил Сиерву Марию в келью. Никогда прежде он не видел, как она ходит, и поступь ее оказалась столь же легка и грациозна, как ее танец. Никогда прежде он не видел на ней других одежд, кроме тюремного балахона, и королевское платье придало ей изящества и зрелости, показав, как много в ней уже от женщины. Никогда прежде не шли они рядом, и его опьянила чистота их близости.

Благодаря дару убеждения вице-короля и его супруги, во время прощального визита заверивших аббатису в правоте епископа, келья преобразилась. На кровати лежал новый матрас с льняными простынями и пуховыми подушками, появилось все необходимое для ежедневного купания и туалета. Свет моря лился сквозь окно, с которого исчезла решетка, и отражался от свежебеленых стен. Теперь Сиерву Марию кормили так же, как остальных затворниц, и в передачах из города не было нужды, но Делаура все равно умудрялся тайком приносить ей лакомства из торговых рядов.

Сиерве Марии захотелось угостить его, и Делаура взял одно из крошечных пирожных, которые поддерживали кулинарный престиж клариссинок. Во время трапезы она вскользь упомянула:

– Я видела снег.

Каэтано не встревожился. С давних лет судачили о вице-короле, который вздумал привезти снег из Пиренеев и показать его туземцам, поскольку не знал, что его полно и здесь, рядом с морем, на горе Сиерра-Невада-де-Санта-Мария. Быть может, дону Родриго де Буэн Лозано, с его страстью к нововведениям, удалось совершить этот подвиг.

– Нет, – сказала девочка, – он мне приснился.

Она рассказала ему свой сон: сидя у окна, за которым валил снег, она ела одну за другой виноградины, срывая их с грозди, что лежала у нее на коленях. Делаура ощутил дуновение ужаса. Содрогаясь в предчувствии неминуемого ответа, он решился спросить:

– Что было в конце?

– Мне страшно говорить тебе об этом, – сказала Сиерва Мария.

Больше ему не требовалось знать. Закрыв глаза, Делаура помолился за нее; когда он закончил, то был уже другим человеком.

– Не волнуйся, – сказал он ей. – Обещаю, скоро ты будешь свободна и счастлива милостью Святого Духа.

Бернарда до последнего времени не знала, что Сиерву Марию увезли в монастырь. Она выяснила это случайно, когда однажды вечером наткнулась на Дульче Оливию, которая подметала и прибиралась в доме, и решила, что ее преследует очередная галлюцинация. В поисках разумного объяснения Бернарда обыскала весь дом, одну комнату за другой, и попутно вспомнила, что Сиерва Мария уже давно не попадалась ей на глаза. Каридад дель Кобре поделилась с ней тем немногим, что знала сама:

– Сеньор маркиз сказал, что она уедет далеко-далеко, и больше мы ее никогда не увидим.

В спальне мужа горел свет, и Бернарда вошла без стука.

Маркиз бодрствовал в своем гамаке, утопая в клубах дыма от горящего на медленном огне коровьего навоза, призванного отгонять москитов. Увидев странную женщину в бесформенной шелковой накидке, он тоже подумал, что перед ним призрак, такой она была изможденной и бледной, словно долго шла издалека. Бернарда спросила о Сиерве Марии.

– Она уже давно не с нами, – сказал маркиз.

Бернарда истолковала его слова в худшем из возможных смыслов и присела на ближайший стул, чтобы перевести дух.

– Ты хочешь сказать, Абренунцио сделал то, что должно?

Маркиз перекрестился.

– Боже упаси!

Он рассказал жене всю правду, особо подчеркнув, что не сообщил об этом раньше, поскольку хотел вести себя с ней так, словно она умерла – в соответствии с ее пожеланиями. Бернарда слушала не мигая, с вниманием, каким она ни разу не удостоила мужа за все двенадцать лет их несчастливого сожительства.

– Я знал, что это будет стоить мне жизни, – сказал маркиз, – но спасет ее.

Бернарда вздохнула.

– Значит, теперь наш позор стал достоянием общественности.

Тут она заметила, что на его ресницах дрожит слеза, и трепет охватил ее нутро – на сей раз не предчувствие смерти, а неотвратимая уверенность в том, что рано или поздно должно было случиться. Она не ошиблась: маркиз собрал остатки сил, чтобы вылезти из гамака, рухнул перед ней на колени и разразился сухими рыданиями никчемного старика. Бернарда сдалась, когда жаркие мужские слезы обожгли ее сквозь шелковую ткань. Несмотря на всю ненависть к Сиерве Марии она испытала облегчение, узнав, что девочка жива.

– Я могу понять что угодно, кроме смерти, – сказала она.

Бернарда снова заперлась в своей комнате с запасом меда и какао; двумя неделями позже оттуда вышел живой труп. Маркиз знал, что с утра пораньше она собиралась в путь, но не проявил никакого интереса. Солнце не успело подняться высоко, когда он увидел, что Бернарда выезжает за ворота на спине покладистого мула, а за ней следует второй, нагруженный скарбом. Она часто поступала так и раньше, не нуждаясь ни в погонщиках, ни в рабах, ни с кем не прощаясь и ничего не объясняя. Но маркиз знал, что на этот раз жена уезжает навсегда, потому что кроме всегдашнего сундука она взяла с собой два

кувшина, доверху набитых чистым золотом, которые долгие годы покоились под ее кроватью.

Праздно валяясь в гамаке, маркиз вновь поддался страху, что рабы прирежут его, и запретил им появляться в доме в дневное время. Поэтому, когда Каэтано Делаура пришел навестить его по велению епископа, ему пришлось самому открыть дверь и войти без приглашения, так как никто не ответил на его громкий стук. Мастифы бесновались в своих клетках, но Делаура лишь прибавил шагу. Маркиз в сарацинской джеллабе и толедской шапочке вкушал сиесту во фруктовом саду, весь усыпанный апельсиновым цветом. Делаура не стал его будить – перед ним словно предстала Сиерва Мария, постаревшая и сломленная одиночеством. Проснувшись, маркиз не сразу узнал гостя из-за повязки на глазу. Делаура простер к нему руку в мирном приветствии.

– Храни вас Бог, сеньор маркиз, – сказал он. – Как поживаете?

– Вот, гнию, – ответил маркиз.

Вялым движением он стряхнул с себя паутину сиесты и сел. Каэтано извинился за неожиданный визит. Маркиз объяснил, что никто не вышел к двери, потому что в этом доме уже забыли, как принимать гостей. Делаура торжественно сообщил:

– Его милость епископ очень занят и страдает от астмы, поэтому я пришел к вам от его имени.

Покончив с формальными любезностями, он присел рядом с гамаком и перешел к делу, которое жгло его изнутри.

– Хочу сообщить вам, что духовное здоровье вашей дочери поручено мне, – сказал он.

Поблагодарив его, маркиз спросил, как девочка себя чувствует.

– Хорошо, – ответил Делаура, – но я надеюсь добиться улучшений.

Он поведал о важности экзорцизма и его методах, рассказал о власти, данной Христу и его ученикам, чтобы изгонять нечистого духа из страждущих и врачевать болезни и скорби, привел евангельскую притчу о легионе бесов, вошедших в стадо свиней. Однако главной задачей оставалось выяснить, действительно ли Сиерва Мария одержима. Делаура в это не верил, но ему требовалась помощь маркиза, чтобы рассеять все сомнения. Прежде всего, он хотел бы знать, какой была девочка до того, как попала в монастырь.

– Трудно сказать, – ответил маркиз. – Мне кажется, чем больше я о ней узнаю, тем хуже ее знаю.

Его мучила совесть за то, что он бросил дочь на произвол судьбы в невольничьем дворе. Этим он объяснял приступы молчаливости, которые порой длились несколько месяцев, необъяснимые вспышки ярости, коварство, с каким девочка старалась насолить матери, снимая с запястья колокольчик и вешая его на кошек. Главным препятствием, мешающим узнать ее поближе, маркиз считал привычку врать забавы ради.

– Как негры, – сказал Делаура.

– Негры врут только нам, а не друг другу, – возразил маркиз.

Заглянув в спальню девочки, Делаура с первого взгляда понял, где обильное бабушкино наследство, а где новые вещи, принадлежавшие Сиерве Марии: говорящие куклы, заводные балерины, музыкальные шкатулки. На кровати лежал нетронутый саквояж, который маркиз привез обратно из монастыря. Покрытая пылью теорба валялась в углу. Объяснив, что это итальянский инструмент, вышедший из употребления, маркиз рассыпался в похвалах музыкальному таланту дочери. В рассеянности он принялся настраивать лютню, а потом сыграл и даже спел мелодию, которую они разучили с Сиервой Марией.

Это был миг откровения. Музыка поведала Делауре больше, чем сумел рассказать о дочери сам маркиз, который так растрогался, что не смог закончить песню.

– Вы даже не представляете, как шла ей та шляпа, – вздохнул он.

Делаура проникся его печалью.

– Вижу, вы ее очень любите, – сказал он.

– Вы даже не представляете, как сильно, – ответил маркиз. – Душу бы отдал, чтобы ее увидеть.

И вновь Делаура ощутил, что Дух Святой позаботился о каждой малости.

– Нет ничего проще, – сказал он, – если нам удастся доказать, что она не одержима.

– Поговорите с Абренунцио, – посоветовал маркиз. – Тот все время утверждал, что Сиерва здорова, но лишь он сам может объяснить, почему.

Делаура очутился на распутье. Казалось, Абренуцио посылала сама судьба, но разговор с ним мог выйти боком.

– Это великий человек, – сказал маркиз, будто прочитал его мысли.

Делаура многозначительно покачал головой.

– Я читал протоколы инквизиции.

– Я готов на любые жертвы, лишь бы вернуть ее, – настаивал маркиз. Поскольку Делаура промолчал, он воскликнул:

– Умоляю, во имя любви Господней!

У Делауры разрывалось сердце.

– Прошу вас, не усугубляйте мои страдания, – сказал он.

Маркиз не стал упорствовать. Взяв с кровати саквояж, он попросил Делауру отнести его дочери.

– Пусть хотя бы знает, что я думаю о ней.

Делаура сбежал, не прощаясь. Он спрятал саквояж под полой и запахнулся в плащ, спасаясь от проливного дождя. Чуть погодя он поймал себя на том, что повторяет про себя строки песенки, которую маркиз сыграл на теорбе. Забыв о хлестких струях дождя, Делаура пропел песню вслух от начала до конца. Дошагав до ремесленного квартала, он свернул налево у жилища отшельника и, все еще распевая, постучался в дверь Абренунцио.

После долгой тишины он услышал неверные шаги. Полусонный голос спросил:

– Кто там?

– Закон, – ответил Делаура.

Он не придумал ничего лучшего, чтобы не называть во всеуслышание свое имя. Абренунцио открыл дверь, решив, что к нему и впрямь заявились представители власти, и не узнал посетителя.

– Я смотритель церковной библиотеки, – сказал Делаура.

Врач отступил в сторону, чтобы пропустить его в темную прихожую, и помог снять промокший плащ, потом в своей излюбленной манере спросил Делауру по-латински:

– В какой битве вы лишились глаза?

Делаура на классической латыни изложил обстоятельства затмения и подробно описал недуг, который затянулся несмотря на заверения епископского врача, считавшего повязку верным средством. Абренунцио не слушал – он дивился чистоте его речи.

– Само совершенство! – восхищенно заявил он. – Откуда вы родом?

– Из Авилы, – ответил Делаура.

– Тем похвальнее, – сказал Абренунцио.

Он убедил гостя снять сутану и сандалии, поставил их сушиться и накинул свой плащ вольнодумца на плечи Делауре, оставшемуся в забрызганных штанах. Затем лекарь снял с его глаза повязку и швырнул ее к отбросам.

– Единственный порок этого глаза в том, что он видит больше положенного, – сказал он.

Делаура пришел в восторг, увидев, что комната набита книгами. Заметив это, Абренунцио отвел его в свою аптеку, где в шкафах, уходящих в потолок, громоздилось еще больше фолиантов.

– Клянусь святым Духом! – воскликнул Делаура. – Это же библиотека Петрарки.

– Только у меня на двести томов больше, – заметил Абренунцио.

Он радушно позволил гостю вволю порыться в книгах. Среди них встречались уникальные экземпляры, которые стоили бы хозяину свободы, будь дело в Испании. Узнав находки, Делаура жадно пролистал их и с сожалением поставил обратно на полки. На почетном месте стоял бессмертный «Брат Херундио», а рядом с ним красовалось полное собрание Вольтера на французском вместе с латинским переводом «Философских писем».

– Вольтер на латыни – почти что ересь, – в шутку сказал Делаура.

Абренунцио рассказал, что «Письма» перевел монах из Коимбры, который баловался изготовлением редких книг в утешение пилигримам. Пока Делаура шелестел страницами, лекарь спросил, понимает ли он по-французски.

– Не говорю, но читаю, – ответил Делаура на латыни, добавив без ложной скромности: – Еще я знаю греческий, английский, итальянский, португальский и отчасти немецкий.

– Я задал этот вопрос из-за вашего замечания о Вольтере, – сказал Абренунцио. – Его проза безупречна.

– И так остра, что глубоко ранит, – отозвался Делаура. – Как жаль, что она принадлежит перу француза!

– Вы говорите так потому, что вы испанец.

– В моем возрасте и с моей смесью кровей я уже не уверен, откуда родом, – ответил Делаура, – и даже кто я такой.

– В здешних королевствах этого не знает никто, – заметил Абренунцио. – Думаю, уйдут столетия на то, чтобы это выяснить.

Говоря с ним, Делаура ни на минуту не прекращал изучать библиотеку. И вдруг, совершенно неожиданно, как много раз в прошлом, он вспомнил о книге, изъятой ректором семинарии, когда ему было двенадцать лет, и о единственном отрывке, который ему удавалось восстановить в памяти; его он повторял на протяжении всей жизни любому, кто мог знать, откуда эти строки.

– Вы помните заглавие? – спросил Абренунцио.

– Я никогда его не знал, – ответил Делаура, – но отдам все на свете, лишь бы выяснить, чем кончается рассказ.

Не говоря ни слова, врач положил перед ним книгу, и Делаура мгновенно ее узнал. Это было старинное севильское издание четырех книг «Амадиса Гальского». Делаура, дрожа, раскрыл ее, понимая, что еще чуть-чуть, и он утратит надежду на спасение. В конце концов, он осмелился раскрыть рот:

– Вам известно, что это запрещенная книга?

– Как и все лучшие романы нашего времени, – сказал Абренунцио. – Взамен они печатают сплошные ученые трактаты. Чем утоляли бы наши несчастные современники жажду чтения, если б не читали тайком рыцарские романы?

– Есть и другие книги, – возразил Делаура. – Сто копий «Дон Кихота» в первой редакции разошлись здесь в тот же год, что появились в печати.

– Не разошлись, а прошли через таможню на пути в другие королевства, – поправил Абренунцио.

Делаура оставил его слова без внимания, потому что, наконец, опознал драгоценного «Амадиса Гальского».

– Девять лет назад эта книга исчезла из запретной секции нашей библиотеки. Мы так и не напали на след, – сказал он.

– Догадываюсь, – ответил Абренунцио. – Есть и другие причины считать это издание историческим: больше года оно переходило из рук в руки, сменив, по меньшей мере, одиннадцать хозяев, и по меньшей мере трое из них уже мертвы. Я уверен, что дело в испарениях неизвестной природы.

– Мой долг – донести на вас Святой Инквизиции, – сказал Делаура.

Абренунцио решил, что это шутка:

– Неужто я сболтнул какую-нибудь ересь?

– У вас находится запрещенная книга, которая вам не принадлежит, и вы не сообщили о ней властям.

– Как и многие другие, – сказал Абренунцио, широким жестом очертив битком набитые полки. – Будь это истинной причиной, вы явились бы раньше, а я не открыл бы вам дверь. – Повернувшись к Делауре, он добродушно закончил: – С другой стороны, я рад, что вы пришли и доставили мне удовольствие вас видеть.

– Меня навел на эту мысль маркиз. Он беспокоится за судьбу своей дочери, – ответил Делаура.

Абренунцио усадил его в кресло напротив себя, и они с головой ушли в беседу, в то время как апокалиптический шторм сотрясал море. Демонстрируя ум и начитанность, доктор прочел целую лекцию по истории бешенства от истоков рода человеческого, рассказав о его безнаказанных свирепствах и тысячелетнем бессилии медицинской науки в этой схватке. Он остановился на плачевных примерах того, как водобоязнь испокон веку принимали за одержимость бесами из-за определенных признаков безумия и других душевных расстройств. Что до Сиервы Марии, через столько недель после укуса вероятность заразиться была невысока. Единственная опасность, по мнению Абренунцио, заключалась в том, что девочка могла умереть от истязания экзорцизмом.

Делаура счел последнюю фразу преувеличением в духе средневековой медицины, но спорить не стал – она подкрепляла его теологические доводы в пользу того, что девочка здорова. Он заявил, что три африканских языка Сиервы Марии хоть и не похожи на испанский с португальским, однако не скрывают никаких сатанинских смыслов, приписанных им в монастыре. Многочисленные показания свидетельствовали о недюжинной физической силе, в которой, впрочем, не было ничего сверхъестественного. Кроме того, не был доказан ни один случай воспарения над землей или вещего пророчества – явлений, которые, впрочем, считались также косвенными признаками святости. Несмотря на то, что Делаура искал поддержки влиятельных собратьев из своего ордена и даже из других общин, никто не решался оспаривать монастырские протоколы или бороться с народным легковерием. Он прекрасно понимал, что его собственный взгляд на вещи, как и мнение Абренунцио, никого не убедит, а уж тем более никто не поверит им обоим вместе взятым.

– Мы с вами окажемся вдвоем против всех, – сказал он.

– Потому меня и удивил ваш визит, – ответил Абренунцио. – Я ведь всего лишь дичь в охотничьих угодьях Святой Инквизиции.

– По правде говоря, я сам не знаю, зачем пришел, – признался Делаура. – Уж не послал ли мне это дитя Святой Дух, чтобы испытать мою веру.

Этих слов хватило, чтобы развязался узел вздохов, который душил его все это время. Заглянув Делауре в глаза, Абренунцио проник в глубины его души и увидел, что он едва сдерживает слезы.

– Не терзайтесь понапрасну, – сочувственно сказал он. – Быть может, вы пришли только потому, что должны были поговорить о ней.

Делаура ощутил себя голым. Он встал, поискал взглядом выход и не бросился вон лишь по той причине, что был наполовину раздет. Абренунцио помог ему облачиться в мокрую одежду, попутно стараясь отговорить его от бегства, чтобы продолжить беседу.

– С вами я мог бы говорить без конца, пока не наступит новый век, – сказал он.

Лекарь попытался удержать гостя, вручив ему фляжку с прозрачными глазными каплями, призванными стереть образ затмения с его сетчатки, затем окликнул Делауру с порога, напомнив, что где-то в доме остался саквояж. Но Делауру, казалось, объяла смертная скорбь. Он поблагодарил Абренунцио за приятный вечер, за врачебную помощь, за глазную примочку, но в ответ на все уговоры обещал лишь прийти как-нибудь в другой раз, когда у него будет больше времени.

Не в силах вынести страстного желания увидеть Сиерву Марию, он очутился перед входом в монастырь, не заметив, что на дворе уже вечер. Небо прояснилось, но сточные канавы затопил недавний ливень, и Делаура брел по щиколотку в воде, держась середины улицы. Привратница было преградила ему путь, так как близилось время тушения огней, но он отстранил ее:

– Именем его милости епископа.

Сиерва Мария проснулась в испуге и не узнала его в темноте. Не придумав, чем объяснить свое неурочное появление, Делаура схватился за первый попавшийся предлог:

– Отец хочет тебя видеть.

Узнав саквояж, девочка вспыхнула от гнева.

– Зато я не хочу!

Придя в замешательство, Делаура попробовал выяснить причину.

– Не хочу и все, – отрезала она, – я скорее умру!

Делаура попытался ослабить путы на здоровой лодыжке девочки, думая задобрить ее.

– Оставь меня в покое! – огрызнулась Сиерва Мария. – Не трогай меня!

Делаура не послушался, и тогда девочка обрушила внезапный град плевков ему в лицо. Он упрямо подставил ей другую щеку. Сиерва Мария плевалась без устали, и Делаура вновь повернулся к ней другой щекой, чувствуя, как изнутри нарастает пьянящая волна запретного удовольствия. Закрыв глаза, он всей душой погрузился в молитву, в то время как Сиерва Мария бесновалась тем яростнее, чем острее было его наслаждение, пока не поняла, что злоба ее бессильна. Тогда глазам Делауры предстала ужасная картина подлинной одержимости. Локоны Сиервы Марии словно ожили, извиваясь, как змеи на голове Медузы, а уста извергали зеленую слюну и грязную брань на языческих наречиях. Потрясая распятием, Делаура поднес его к лицу девочки и в ужасе крикнул:

– Изыди, порождение ада, кем бы ты ни было!

Девочка вторила его воплям, казалось, что она вот-вот порвет ремни. Перепуганная надзирательница ворвалась в келью и попыталась усмирить ее, но это удалось лишь Мартине с ее ангельской кротостью. Делаура бежал.

Епископ встревожился, когда падре не пришел к ужину, чтобы читать ему вслух. Делаура же очутился на личном облаке, где утратило значение все на том и на этом свете – все, кроме кошмарного образа Сиервы Марии во власти дьявола. Он укрылся в библиотеке, но читать не смог. Он исступленно молился, повторял мелодию, сыгранную на теорбе, лил слезы, кипящим маслом обжигавшие ему нутро. Открыв саквояж Сиервы Марии, он разложил на столе все вещицы, одну за другой. Он пожирал их взглядом, вдыхал их запах в страстном порыве плотского желания, поклонялся им, читал им непристойные гекзаметры, пока не понял, что больше не в силах терпеть. Тогда он разделся до пояса, достал из ящика рабочего стола железную плеть, к которой раньше боялся прикоснуться, и принялся бичевать себя с лютой ненавистью, что можно было унять, лишь без остатка изгнав из сердца Сиерву Марию. Епископ, так и не дождавшись ученика, обнаружил, что он корчится на полу в луже крови и слез.

– Это демон, отче, – сказал Делаура, – самый страшный из всех демонов ада.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Вызвав Делауру к себе, епископ потребовал объяснений и выслушал без всякого сочувствия его полную и неприкрашенную исповедь, ни на минуту не забывая, что осуществляет не таинство, а судебное расследование. Он проявил к ученику единственное снисхождение – сохранил в тайне истинную природу его греха, но при этом безоговорочно лишил его всех званий и привилегий, а затем отправил в госпиталь Амор-де-Диос, ухаживать за прокаженными. Делаура испросил позволения служить для них пятичасовую мессу, и епископ снизошел к его просьбе. С чувством глубокого облегчения

Делаура преклонил колени, и вместе они прочитали «Отче наш». Благословив его, епископ помог ему встать.

– Да смилуется над тобой Господь, – сказал он ученику – и вычеркнул его из своего сердца.

Даже после того, как наказание Каэтано вступило в силу, высокопоставленные прелаты епархии пытались ходатайствовать о его помиловании, но епископ был непреклонен. Он отверг соображение, будто экзорцист может пасть жертвой демона, которого пытался изгнать, в качестве окончательного довода заявив, что Делаура не ограничился борьбой с демонами, заручившись непререкаемой властью Христа, но допустил неслыханную дерзость – обсуждал с ними вопросы веры. Именно это, по мнению епископа, заставило его рискнуть спасением души и чуть не сделало еретиком. Впрочем, еще более удивительным казалось то обстоятельство, что епископ так жестко обошелся со своим наперсником за провинность, которая заслуживала, самое большее, епитимьи с зелеными свечами.

Мартина безраздельно посвятила себя заботе о Сиерве Марии. Она тяжело приняла отказ в помиловании, но девочка не замечала ее горя, пока однажды вечером, сидя на террасе с шитьем, не подняла взгляда и не увидела, что Мартина заливается слезами. Она даже не пыталась скрыть свое отчаяние.

– Лучше умереть, чем гнить в тюрьме.

По словам Мартины, у нее осталась одна надежда – связь Сиервы Марии с демонами. Она хотела знать, кто они, как выглядят и как найти к ним подход. Сиерва Мария назвала шестерых, и Мартина узнала в одном из них африканского демона, который в свое время докучал ее родителям. Загоревшись новой идеей, она оживилась:

– Я бы хотела с ним поговорить, – и уточнила: – в обмен на мою душу.

Сиерва Мария расшалилась.

– Он не умеет говорить, – объяснила она. – Надо смотреть на его лицо, тогда видно, что он хочет сказать.

Затем девочка со всей серьезностью обещала предупредить Мартину о следующем появлении демона, чтобы она могла с ним познакомиться.

Каэтано тем временем смиренно влачил жалкое существование в госпитале. Прокаженные, умершие для мира, спали на земляном полу в лачугах из пальмовых листьев. Иные из них передвигались только ползком. По вторникам, когда им оказывали нехитрую помощь, приходилось особенно тяжело. Каэтано возложил на себя искупительную обязанность мыть самых немощных в корытах для скота, чем и был занят в первый вторник своей епитимьи, сменив одеяние священника на грубую рубаху санитара, когда вдруг появился Абренунцио, восседая на гнедой лошади, подаренной ему маркизом.

– Как ваш глаз? – спросил он.

Каэтано не дал лекарю возможности заговорить о постигшем его несчастье или посочувствовать его положению. Он поблагодарил Абренунцио за капли, которые и вправду избавили его от навязчивого огненного круга.

– Не стоит благодарности, – ответил Абренунцио. – Я дал вам лучшее из известных лекарств от солнечной слепоты – чистую дождевую воду.

Он пригласил Делауру в гости, и тот признался, что не может покинуть госпиталь без разрешения. Абренунцио не придал этому никакого значения.

– Раз вы знакомы с пороками здешних королевств, то должны знать: любой закон действует тут не дольше трех дней, – сказал он.

Врач предложил свою библиотеку к услугам Каэтано, чтобы тот мог продолжать свои ученые занятия, отбывая наказание. Делаура выслушал его с интересом, но не поддался обольщению.

– Что ж, я удаляюсь в замешательстве, – сказал под конец Абренунцио, пришпоривая коня. – Бог, кем бы он ни был, создал талант, подобный вашему, не для того, чтобы вы его потратили на мытье прокаженных.

В следующий вторник он привез Каэтано гостинец – «Философские письма» на латыни. Каэтано пролистал книгу, понюхал страницы, прикинул стоимость. Чем больше он радовался подарку, тем меньше понимал Абренунцио.

– Я хотел бы знать, почему вы так добры ко мне, – сказал он.

– Потому что мы, атеисты, жить не можем без церковников, – сказал Абренунцио. – Пациенты доверяют нам тела, но не души, а мы, подобно дьяволу, пытаемся отбить их у Творца.

– Это противоречит вашим верованиям, – сказал Каэтано.

– Даже я сам не знаю, во что верю.

– Зато знает Святая Инквизиция, – парировал Каэтано.

Вопреки его ожиданиям, едкое замечание привело Абренунцио в восторг.

– Приходите ко мне, там мы сможем дискутировать в свое удовольствие, – сказал он. – Я сплю не больше двух часов в сутки, и то урывками, так что жду вас в любое время!

С этими словами он пришпорил лошадь и ускакал.

Каэтано вскоре узнал, что потеря большой власти всегда влечет за собой другие утраты. Люди, которые некогда заискивали перед ним из-за его привилегий, теперь шарахались от него, как от прокаженного. Светские друзья, разделявшие с ним увлечение искусствами и литературой, также отстранились, опасаясь конфликта со Святой Инквизицией. Каэтано было все равно – в его сердце не осталось места ни для чего, кроме Сиервы Марии, и даже целого сердца не было достаточно. Он верил: разлучить их не смогут ни океаны, ни горы, ни законы земные и небесные, ни все силы ада.

Однажды ночью, в дерзком порыве вдохновения, он сбежал из госпиталя, чтобы пробраться в монастырь. В обители имелось четыре входа: главные ворота с турникетом, еще одни, такого же размера, со стороны моря, и два черных хода для прислуги. Ворота не оставляли ни малейшей надежды. Выйдя на берег, Каэтано без труда узнал окно Сиервы Марии в тюремном флигеле, потому что только с него сняли решетку. Он ощупывал здание пядь за пядью, тщетно пытаясь найти хоть крохотную брешь, которая служила бы точкой опоры.

Он уже почти отчаялся, когда внезапно вспомнил о подземном ходе, через который обитель снабжали провизией во время Cessatio a Divinis. Тоннели под строениями или монастырями в ту пору не были редкостью. В городе знали, по меньшей мере, о шести, а в последующие годы обнаружились новые лазы, каждый из которых заслуживал, чтобы ему посвятили целый приключенческий роман. Прокаженный, когда-то бывший могильщиком, рассказал Каэтано, где находится то, что ему нужно: заброшенная сточная труба, соединявшая монастырь с соседним клочком земли, где столетие назад устроили кладбище для первых клариссинок. Отверстие скрывалось прямо под высокой шершавой стеной тюремного флигеля, которая казалась неприступной, но после множества неудачных попыток Каэтано все же удалось взобраться наверх, еще раз убедившись – силой молитвы можно добиться чего угодно.

В такую рань флигель был тихой заводью. Каэтано не сомневался, что надзирательница спит в другом месте, его беспокоил лишь храп Мартины Лаборде за приоткрытой дверью. До этого момента риск держал его в напряжении, но теперь, когда Каэтано оказался перед кельей и увидел, что висячий замок не замкнут на ключ, его сердце пустилось в бешеный пляс. Кончиками пальцев он толкнул дверь и обмер, услышав скрежет петель. Сиерва Мария спала, озаренная мерцанием алтарного светильника. Она открыла глаза, но не сразу узнала его в холщовой рубахе санитара. Каэтано показал ей окровавленные ногти.

– Я забрался по стене, – прошептал он.

Сиерва Мария и бровью не повела.

– Зачем? – спросила она.

– Чтобы увидеть тебя.

Он не знал, что сказать еще – руки предательски дрожали, голос срывался.

– Уходи, – сказала Сиерва Мария.

Он помотал головой, опасаясь, что голос изменит ему.

– Уходи, – повторила она, – а то закричу!

Каэтано подошел так близко, что ощутил ее девственное дыхание.

– Я останусь даже под страхом смерти, – сказал он и добавил, вдруг почувствовав, что страх остался позади: – Можешь кричать, если хочешь.

Она прикусила губу. Каэтано сел на постель и во всех подробностях рассказал ей о постигшей его каре, умолчав о причинах. Девочка поняла больше, чем он сумел выразить словами. Спокойно посмотрев на него, она спросила, куда делась глазная повязка.

– Она мне больше не нужна, – радостно сказал он. – Стоит мне закрыть глаза, я вижу реку золотых волос.

Два часа спустя Каэтано ушел счастливым: Сиерва Мария разрешила ему вернуться, если он принесет ее любимые сласти из торговых рядов. На следующий вечер он явился так рано, что обитель еще не спала, и Сиерва Мария оставила зажженный светильник, желая закончить вышивку для Мартины. На третий день Каэтано принес фитиль и масло, чтобы светильник не гас. На четвертый день, в субботу, он несколько часов кряду помогал ей ловить вшей, которые опять расплодились в келье. Глядя на ее чистые, расчесанные волосы, Каэтано вновь покрылся ледяной испариной соблазна. Он лег рядом с Сиервой Марией, дыша хрипло и неровно, и увидел ее прозрачные глаза на расстоянии ладони от своего лица. Оба смутились. Каэтано в страхе обратился к молитве, но не отвел взгляда. Она отважилась заговорить:

– Сколько тебе лет?

– В марте исполнилось тридцать шесть, – ответил он.

Сиерва Мария внимательно посмотрела на него.

– Ты же старенький, – протянула она с ноткой презрения, потом уставилась на его лоб и добавила с детской беспощадностью: – Сморщенный старичок.

Каэтано добродушно снес насмешку. Сиерва Мария спросила, откуда у него седая прядь.

– Я с ней родился, – сказал он.

– Наверное, крашеная, – возразила она.

– Настоящая. У моей матери была такая же.

Он по-прежнему смотрел на нее в упор, но она даже не думала отвести глаза. Глубоко вздохнув, он продекламировал:

– «О ласковые локоны любимой, бесценный талисман минувших дней,
вы – в заговоре с памятью моей».

Она непонимающе взглянула на него.

– Эти стихи написал дед моего прапрадеда, – объяснил он. – Он написал три эклоги, две элегии, пять канцон и сорок сонетов. Большинство из них он посвятил одной португалке весьма заурядной внешности, которая никогда ему не принадлежала, ибо он был женат, а потом и она вышла замуж за другого и умерла раньше него.

– Он тоже был монах?

– Солдат, – ответил Каэтано.

В сердце Сиервы Марии что-то шевельнулось, потому что она захотела услышать эти строки еще раз. Повторив их, Каэтано продолжил стих, пылко и с выражением, и не остановился, пока не прочитал все сорок сонетов рыцаря любви и меча, дона Гарсиласо де ла Веги, павшего во цвете лет от вражеской пращи.

Умолкнув, Каэтано взял Сиерву Марию за руку и приложил ее ладонь к своему сердцу. Она услышала, как рокочет в нем страдание.

– Такое творится со мной все это время, – сказал он.

И, не позволяя себе поддаться панике, он освободился от темного сгустка, который мешал ему жить. Он признался, что каждый миг думает о ней, что ест и пьет с ее вкусом на губах, что властью и правом, подобающими одному лишь Богу, она стала его жизнью и пребудет ею всегда и повсюду, и что высшая радость для него – принять вместе с нею смерть. Он говорил без запинки, не глядя на нее, так же страстно, как читал стихи, пока ему не показалось, что Сиерва Мария уснула. Но она не спала и неотрывно следила за ним глазами испуганной серны. Наконец, она решилась спросить:

– И что теперь?

– Ничего, – ответил он. – Теперь ты все знаешь, этого мне достаточно.

Он замолчал, не в силах больше говорить. Безмолвно плача, он подложил руку ей под голову вместо подушки, и Сиерва Мария свернулась клубочком рядом с ним. Так они лежали без сна, в полном молчании, пока не запели петухи, и Каэтано поспешил прочь, чтобы успеть к пятичасовой мессе. На прощание Сиерва Мария дала ему драгоценное ожерелье Оддуа – восемнадцать дюймов жемчугов и кораллов.

Панический ужас в его сердце сменился острой тоской. Делаура не находил покоя, выполнял свои обязанности спустя рукава и грезил наяву в ожидании счастливого часа, когда он мог сбежать из госпиталя и увидеть Сиерву Марию. Мокрый насквозь от нескончаемых ливней, он подходил к келье, хватая ртом воздух, а Сиерва Мария ждала его так нетерпеливо, что переводила дух, лишь когда он улыбался ей с порога. Однажды вечером она сама сделала первый шаг и начала читать стихи, которые слышала столько раз, что успела выучить:

– «Но не хочу в моей несчастной части продлить недолгих дней быстротеченье и не перечу року своему», – потом не без лукавства спросила: – А что там дальше?

– «Сдаюсь на милость милой сердцу страсти: близка кончина и конец мученья, а значит, мне спасенье ни к чему», – произнес Каэтано.

Она повторила за ним, вложив в свой голос столько же нежности, и так они дошли до конца книги: пропускали строки, выворачивали наизнанку сонеты, приспосабливая их под свои нужды, своенравно играли словами, пока не заснули от усталости. В пять утра надзирательница внесла завтрак под заливистый петушиный клич, и они проснулись, ни живы ни мертвы от страха. Монахиня поставила завтрак на стол, привычным жестом обвела келью фонарем и ушла, не заметив Каэтано на кровати.

– Люцифер – тот еще проказник, – усмехнулся он, отдышавшись. – Меня он тоже сделал невидимым.

Сиерве Марии пришлось изобретать все новые ухищрения, чтобы отвлекать надзирательницу и не пускать ее в келью. Поздним вечером, после целого дня игр и шуток, им показалось, что они всю жизнь влюблены друг в друга. Каэтано, полушутя, полувсерьез, дерзнул ослабить шнуровку ее корсажа. Сиерва Мария прикрыла грудь обеими руками, в глазах ее сверкнула ярость, чело залилось румянцем. Он бережно взял ее ладони двумя пальцами, словно коснулся живого пламени, и отвел их в сторону. Она сопротивлялась, и Каэтано применил силу – ласково, но твердо.

– Повторяй за мной, – сказал он ей, – «Я в вашей власти; надо мною сжалось кольцо жестоких помыслов и дел».

Она повиновалась.

– «И вы хотите, чтобы я не смел выпрашивать в предсмертных муках жалость?», – продолжил он и ледяными пальцами распахнул лиф ее платья.

Она вторила еле слышным шепотом, дрожа от страха:

– «Неслыханно, чтоб шпага погружалась в грудь пленника – но вот он, мой удел!»

Каэтано впервые поцеловал ее в губы. Жалобно застонав, Сиерва Мария затрепетала всем телом, испустила вздох, подобный легкому океанскому бризу, и отдалась на милость судьбы. Он погладил ее кончиками пальцев, едва касаясь кожи, и первый раз в жизни познал чудо власти над чужой плотью. Внутренний голос говорил ему, как далеки от дьявола были его бессонные ночи, посвященные латыни и греческому, религиозные

восторги, бесплодные пустоши его целомудрия, в то время как она жила в невольничьей лачуге, в царстве свободной любви. Он позволил ей направлять себя, двигаясь на ощупь во мраке, но в последний миг раскаялся и низвергся в бездну, сотрясаемый душевным катаклизмом. Закрыв глаза, он долго лежал на спине. Сиерва Мария, напуганная гробовым молчанием и неподвижностью Каэтано, тронула его пальцем.

– Что с тобой? – спросила она.

– Оставь меня, – пробормотал он. – Я молюсь.

В последующие дни им редко выпадала минута покоя, когда они были вместе: они без устали говорили о горестях любви, целовались до изнеможения, проливали жаркие слезы, декламируя любовные стихи, пели друг другу на ухо, корчились в зыбучих песках желания, пока не падали без сил – изнуренные, но девственные, ибо Каэтано поклялся хранить обет до получения причастия, и она его поддержала.

Взяв передышку у страсти, они обменивались неумеренными доказательствами любви. Он сказал, что на все готов ради нее, и Сиерва Мария с детской жестокостью приказала ему съесть таракана. Прежде чем она успела вмешаться, он поймал насекомое и проглотил его живьем. В очередном безумном порыве он спросил, отрежет ли она ради него косу, и Сиерва Мария ответила «да», но предупредила то ли в шутку, то ли всерьез, что тогда ему придется взять ее замуж, выполняя условия обета. Он принес в келью кухонный нож и сказал:

– Посмотрим, правду ли ты говоришь.

Она повернулась к нему боком, чтобы удобнее было срезать волосы под корень, и поторопила:

– Давай же! – но у него не поднялась рука.

Через несколько дней она спросила, даст ли он себя зарезать, как козленка, и Каэтано без колебаний ответил «да». Она достала нож, чтобы испытать его, и он отшатнулся прочь, охваченный смертным испугом.

– Нет, – сказал он, – только не ты.

Сиерва Мария, умирая со смеху, пожелала узнать причину, и он признался:

– Потому что ты и вправду бы это сделала.

Когда страсть на время отступала, ей на смену приходила повседневная рутина любви. К приходу Каэтано Сиерва Мария наводила в келье чистоту и порядок, будто ждала возвращения мужа. Он научил ее читать и писать, посвятил в культ поэзии и почитания Святого Духа, предвкушая счастливые дни, когда они будут свободны и поженятся.

Двадцать седьмого апреля на рассвете Сиерва Мария только сомкнула веки, проводив Каэтано, как в келью без предупреждения ворвались монахини, чтобы подготовить ее к обряду экзорцизма. С ней обошлись, как с приговоренной к смерти: подтащив к корыту, несколько раз окатили водой из ведра, сорвали с шеи ожерелья и обрядили в длинное рубище, как еретичку. Монахиня-садовница четырьмя щелчками больших ножниц отхватила ей волосы под самый корень и бросила их в костер, разожженный во дворе. Монахиня-цирюльница подстригла концы, оставив полдюйма, как под покрывалом у клариссинок, и стряхнула обрезки в огонь. Сиерва Мария глядела на золотое пламя, внимала треску свежих дров и вдыхала едкий запах паленого волоса; ни один мускул не дрогнул на ее каменном лице. Потом на девочку надели смирительную рубашку, закутали ее в траурный покров, и двое рабов понесли ее в часовню на солдатских носилках.

Епископ созвал церковный совет, состоящий из влиятельных пребендариев, и те избрали четверых из своего числа для участия в процессе по делу Сиервы Марии. Своим заключительным постановлением епископ бросил вызов терзавшему его недугу. Он распорядился, чтобы обряд состоялся не в соборе, как другие памятные события такого рода, а в часовне святой Клары, и пожелал лично провести ритуал изгнания демона.

Клариссинки под предводительством аббатисы столпились в алтаре с утра пораньше и пели заутреню под звуки органа, взволнованные величием грядущего дня. Затем к ним присоединились члены церковного совета, главы трех монашеских орденов и представители Святой Инквизиции. Ни в этом, ни в последующих обрядах светские власти не принимали никакого участия.

Последним в часовне появился епископ в церемониальном облачении, в паланкине, который несли четверо невольников, и с выражением безутешной скорби на лице. Он занял место напротив главного престола, рядом с мраморным катафалком, предназначенным для торжественных похорон, в кресле на шарнирах, которое помогало ему совладать с телом. Едва пробило шесть, рабы внесли на носилках Сиерву Марию в смирительной рубашке, по-прежнему закутанную в темно-лиловую ткань.

Пока служили мессу, жара стала нестерпимой. Басовые ноты органа грохотали под сводчатым потолком, почти заглушая блеклые голоса клариссинок, невидимых за решетчатыми ставнями алтаря. Двое полуобнаженных рабов, которые принесли Сиерву Марию, встали на страже рядом с носилками. Когда месса подошла к концу, они сняли с нее покров и оставили на мраморном катафалке, как мертвую принцессу. Слуги епископа придвинули его кресло поближе к девочке и оставили их наедине в просторном нефе, под сенью главного престола.

То, что затем последовало, казалось прологом к некоему божественному чуду. В церкви повисло невыносимое напряжение, воцарилась полная тишина. Служка поставил чашу со святой водой в пределах досягаемости епископа. Схватив иссоп, точно боевой молот, прелат склонился над Сиервой Марией и с ног до головы окропил ее святой водой, приговаривая молитву. Затем из его уст прогремело заклятье, потрясшее часовню до оснований.

– Кто бы ты ни был, – проревел он, – повелеваю тебе во имя Христа, Господа Бога, Творца всего видимого и невидимого, что было, есть и пребудет: покинь сие тело, спасенное крещением, и вернись во тьму!

Сиерва Мария, вне себя от ужаса, тоже отчаянно закричала. Епископ повысил голос, пытаясь заглушить ее, но она вопила все громче. Сделав глубокий вдох, он открыл рот, чтобы продолжить обряд, но воздух застрял в его груди и не желал выходить наружу. Епископ рухнул ничком, задыхаясь, как рыба, выброшенная на берег, и церемония завершилась грандиозным переполохом.

Вечером Каэтано обнаружил, что Сиерва Мария трясется от лихорадки в смирительной рубашке. Особую ярость у него вызвал кощунственный вид ее стриженой головы.

– Боже милосердный, – бормотал он в тихом бешенстве, освобождая девочку от пут, – как ты допустил такое злодеяние?

Оказавшись на воле, Сиерва Мария бросилась ему на шею и зарыдала. Заключив ее в объятья, он дал ей выплакаться вволю, потом взял в ладони ее лицо и сказал:

– Довольно слез, – и добавил строку Гарсиласо: – «Я все несчастья исчерпал до дна».

Сиерва Мария рассказала ему, какой кошмар она пережила в часовне, описав оглушительное пение, подобное грохоту войны, безумные вопли епископа, его обжигающее дыхание, исступленный блеск ярко-зеленых глаз.

– Он был похож на дьявола, – сказала она.

Каэтано попробовал ее успокоить, заверив, что, несмотря на необъятную тучность, громовой голос и воинственную натуру, епископ все же человек добрый и умный. Испуг Сиервы Марии вполне понятен, но ей ничто не угрожало.

– Лучше б я умерла, – сказала она.

– Ты в гневе и отчаянии, я тоже, ибо не в силах тебе помочь, но Господь вознаградит нас в день воскрешения, – увещевал ее Каэтано.

Он снял ожерелье Оддуа, которое дала ему Сиерва Мария, и надел ей на шею взамен тех, что отобрали монахини. Вместе они улеглись на кровать, изливая друг другу

накипевшие обиды, пока мир не погрузился в тишину, которую тревожило лишь копошение термитов в потолочных балках. Горячка Сиервы Марии утихла. Каэтано промолвил в темноте:

– Апокалипсис предрекает день, когда не взойдет солнце. Я молю Бога, чтобы этот день настал сегодня.

Сиерва Мария не успела проспать и часа после ухода Каэтано, как ее разбудил новый звук. У ее кровати рядом с аббатисой стоял пожилой священник изрядного роста с темной кожей, выдубленной соленым воздухом, шапкой жестких волос, кустистыми бровями и мозолистыми руками. Его взгляд внушал доверие. Сиерва Мария еще наполовину спала, когда он обратился к ней на йоруба:

– Я принес твои ожерелья.

Он достал бусы из кармана, в том виде, в каком получил их от сестры-экономки по первому требованию, и по очереди надел их на шею Сиерве Марии, называя и описывая каждое на разных африканских языках: красно-белое – в честь бога любви и крови Чанго, красно-черное – в честь бога жизни и смерти Элеггуа, семь аквамариновых и бледно-голубых камней в честь Йемайи. Он виртуозно переходил с йоруба на конголезский, с конголезского на мандинга, и Сиерва Мария отвечала ему столь же бегло и непринужденно. В конце концов, он заговорил на кастильском наречии из уважения к аббатисе, которая поверить не могла, что Сиерва Мария способна проявлять такую кротость.

Это был отец Томас де Аквино де Нарваес, бывший инквизитор из Севильи, а ныне приходской священник в невольничьем квартале, которого подкошенный болезнью епископ назначил своим наместником по вопросам экзорцизма. Репутация святого отца не допускала никаких сомнений в его суровости. Он послал на костер одиннадцать еретиков, как евреев, так и мусульман, но славу его составляли прежде всего бесчисленные души, вырванные им из когтей самых хитроумных демонов Андалузии. То был человек с изысканным вкусом и манерами, речь его отличал мелодичный выговор уроженца Канарских островов. Его отец, королевский стряпчий, женился на своей рабыне-квартеронке, и сыну пришлось предъявить доказательство чистоты своего происхождения в четырех поколениях белых, чтобы его приняли в местную семинарию. За выдающиеся достижения он удостоился докторской степени в Севилье, где жил и проповедовал до пятидесяти лет. Вернувшись в родные края, он попросил самый убогий приход и страстно увлекся африканскими языками и верованиями, живя как раб среди рабов. Трудно было найти священника, который бы лучше справился с делом Сиервы Марии и успешнее противостоял ее демонам.

Сиерва Мария с первого взгляда приняла его за архангела-спасителя и не ошиблась. В ее присутствии он дотошно разобрал обвинения из монастырских протоколов и доказал аббатисе, что все они несостоятельны. По его словам, южноамериканские демоны ничем не отличались от европейских, но вели себя по-другому и требовали иного подхода. Он привел четыре основных правила, при помощи которых можно было выявить одержимость, и продемонстрировал аббатисе, что дьяволу не составит никакого труда воспользоваться ими в своих целях и убедить всех в обратном. Прощаясь с Сиервой Марией, он ласково ущипнул ее за щеку и сказал:

– Спи спокойно. Мне попадались враги и похуже.

Аббатиса находилась в столь добром расположении духа, что пригласила его на чашку знаменитого ароматного шоколада клариссинок с анисовым печеньем и шедеврами кондитерского искусства, которые приберегала для избранных. Пока они закусывали в личной столовой Хосефы Миранды, святой отец распорядился насчет мер, которые следовало принять в ближайшем будущем, и аббатиса с радостью подчинилась его указаниям.

– Меня нисколько не интересует дальнейшая судьба этой несчастной, – сказала она. – Я молю Бога лишь о том, чтобы она как можно скорее покинула стены обители.

Падре обещал приложить все усилия, чтобы это случилось в течение нескольких дней, а то и часов. Они расстались в приемной, довольные друг другом, даже не подозревая, что больше им не суждено увидеться.

Однако именно так и вышло. Отец Аквино, как называли его прихожане, пешком отправился в свою церковь, поскольку с некоторых пор слишком мало времени уделял молитве и заглаживал вину перед Богом, ежедневно терзаясь муками ностальгии. Он задержался в рыночной галерее, оглушенный выкриками уличных разносчиков, торгующих всем на свете, и подождал, пока сядет солнце, прежде чем окунуться в трясину порта. По дороге он купил самого дешевого печенья и билет лотереи для бедных, с неисправимым оптимизмом надеясь на выигрыш, который помог бы восстановить его обветшалый храм. Полчаса он провел, беседуя с черными матронами, восседавшими на земле подобно монументальным идолам, разложив самодельные побрякушки на джутовых циновках. Около пяти он пересек разводной мост Хетсемани, где только что повесили зловещий остов крупного пса, так как подозревали, что животное умерло от бешенства. Воздух благоухал розами, и в целом мире не нашлось бы небес прозрачнее.

Невольничий квартал, ютившийся на самом краю лимана, погряз в неслыханной нищете. Люди жили бок о бок с аурами и свиньями в землянках с крышами из пальмовых листьев, дети утоляли жажду из уличных луж. Но здесь, среди ярких красок и звонких голосов, как нигде кипела жизнь, особенно с наступлением сумерек, когда местные обитатели выносили стулья на середину улицы, чтобы насладиться вечерней прохладой. Падре раздал печенье нищим ребятишкам, оставив себе три штуки на ужин.

Его храм представлял собой хижину из глины и тростника. Крышу из листьев сабаля венчал крест, сколоченный из палок. Внутри стояли грубые дощатые скамьи, сирый алтарь с одиноким святым и деревянная кафедра, с которой отец Аквино по воскресеньям читал проповеди на африканских языках. Сразу за алтарем к церквушке лепился приходской дом, где падре жил в спартанских условиях, занимая одну комнату с походной кроватью и незатейливым стулом. За домом был каменистый дворик с беседкой, увешанной виноградными гроздьями, изъеденными гнилью, и с терновой изгородью, что отделяла его от лимана. Единственным источником питьевой воды служила каменная цистерна, стоявшая в углу двора.

Старый причетник и девочка-сирота четырнадцати лет, оба крещеные мандинго, помогали отцу Аквино в церкви и по хозяйству, но после чтения Розария он не нуждался в их услугах. Перед тем, как запереть дверь, падре съел печенье и запил его стаканом воды, а затем попрощался с соседями, сидевшими на улице, традиционной фразой на кастильском:

– Да ниспошлет вам всем Господь благословенную и спокойную ночь.

В четыре утра причетник, который жил через пару домов от церкви, зазвонил в колокол, созывая прихожан к мессе. Около пяти, когда стало ясно, что падре опаздывает, причетник заглянул в его комнату, но не нашел отца Аквино ни там, ни во дворе. Старик обошел все окрестности, зная, что порой священник стучался в соседние дома ни свет ни заря, желая побеседовать с паствой. Прихожанам, которые уже собрались в церкви, он сообщил, что мессы не будет, так как падре куда-то пропал. В восемь часов, когда солнце уже пекло вовсю, девочка-служанка отправилась к цистерне за водой и обнаружила отца Аквино – он плавал на спине, в одних гамашах, которые всегда надевал для сна. Тайна этой нелепой, многими оплакиваемой смерти навсегда осталась нераскрытой. Аббатиса провозгласила ее бесспорным доказательством того, что сам дьявол ополчился против обители.

Печальная весть не достигла кельи Сиервы Марии, которая наивно ждала отца Аквино, полная обманчивых надежд. Она не сумела объяснить Каэтано, кто это такой, однако заразила его своей горячей благодарностью за вновь обретенные ожерелья и обещание спасти ее. Какое-то время им обоим казалось, что любви достаточно для

счастья. После жестокого разочарования в отце Аквино Сиерва Мария первой поняла, что их свобода зависит только от них самих. Однажды ночью, после долгих часов объятий и поцелуев она стала упрашивать Делауру остаться. Решив, что она шутит, он вновь поцеловал ее и попрощался. Сиерва Мария метнулась к двери и, раскинув руки, преградила ему путь:

– Останься или возьми меня с собой!

Как-то раз она сказала Каэтано, что хочет сбежать с ним в Сан-Базилио-де-Паленке, поселение беглых рабов в двенадцати лигах отсюда, где она рассчитывала встретить королевский прием. Каэтано счел, что сам Бог надоумил Сиерву Марию на эту мысль, но никак не увязал ее с возможным побегом. Сам он намеревался действовать законным путем, тешась надеждой, что маркиз вновь обретет свою дочь, едва будет доказано, что она не одержима бесом, а он, Каэтано, получит прощение епископа и разрешение вернуться в мир, в общество, где женитьба священника или замужество монахини были делом столь обыденным, что никого бы не возмутили. Поэтому, когда Сиерва Мария поставила его перед выбором, он вновь попытался ее отвлечь, но она повисла у него на шее, угрожая закричать. Уже светало. Перепуганный Делаура вырвался, оттолкнув ее в сторону, и бежал прочь с первыми звуками заутрени.

Сиерва Мария впала в неистовство. Она расцарапала лицо надзирательнице по самому ничтожному поводу, заперлась изнутри на засов и пригрозила, что сожжет келью, а заодно и себя, если ее не выпустят на волю. Окровавленная надзирательница злобно крикнула:

– Только посмей, Вельзевулово отродье!

В ответ Сиерва Мария подожгла матрас пламенем алтарного светильника, и только кроткие увещевания Мартины предотвратили трагедию. Так или иначе, в своем ежедневном отчете надзирательница попросила перевести девочку в более надежную келью в тюремном флигеле.

Настойчивость Сиервы Марии побудила Каэтано ускорить поиски спасительного решения, чтобы не пришлось совершать побег. Он дважды пытался повидаться с маркизом, но оба раза ему преграждали дорогу мастифы, которые покинули свои клетки и свободно разгуливали по особняку в отсутствие хозяина. Дело было в том, что маркиз ушел из дома и больше не вернулся. Сломленный бесчисленными страхами, он пытался найти убежище в приюте Дульче Оливии, но она не пустила его на порог. Маркиз призывал ее всеми доступными средствами с тех пор, как его настигло одиночество, и получал в ответ лишь насмешки на крыльях бумажных птичек. Затем она внезапно явилась без зова и предупреждения, подмела и отдраила заброшенную кухню, которая успела прийти в полную негодность, и вскоре над веселым пламенем печи забулькал котелок. Она разоделась по-воскресному, со множеством оборок из органзы, накрасилась и нарумянилась по последней моде; о ее безумии напоминала лишь шляпа с огромными полями, украшенная тряпичными рыбами и птицами.

– Благодарю, что пришла, – сказал маркиз. – Мне было очень одиноко.

И жалобно добавил: – Я потерял Сиерву.

– Сам виноват, – небрежно ответила Дульче Оливия. – Ты сделал все, чтобы ее потерять.

На ужин была креольская похлебка из трех сортов мяса и отборных овощей. Дульче Оливия подала ее с видом хозяйки дома, и эта роль очень шла к ее наряду. Свирепые псы повсюду следовали за ней, пыхтя и путаясь под ногами, она же ворковала с ними, как юная новобрачная. Она села за стол напротив маркиза, как могла бы сесть в юности, когда они еще не боялись любить, и оба в молчании принялись за еду, не глядя друг на друга, истекая потом и поглощая суп с безразличием пожилой супружеской пары. После первого блюда Дульче Оливия остановилась передохнуть и вспомнила, сколько ей лет.

– Вот так бы мы и жили, – сказала она.

Ее прямота заразительно подействовала на маркиза. Посмотрев на нее, он увидел толстую старуху без двух зубов и с морщинистыми веками. Да, быть может, так бы они и жили, посмей он тогда пойти против воли отца.

– В такие минуты кажется, будто ты вновь обрела рассудок, – заметил он.

– А я его и не теряла. Просто ты никогда не замечал, какая я на самом деле.

– Я выбрал тебя из толпы девиц, когда все вы были молоды и прекрасны. Как тут угадать?

– Наоборот, это я тебя выбрала. Сам ты как был, так и остался жалким ничтожеством.

– Ты оскорбляешь меня в моем собственном доме, – сказал маркиз.

Дульче Оливию воодушевила неотвратимость ссоры.

– Этот дом такой же мой, как и твой, – заявила она. – И девочка моя, хоть ее и принесла эта сука.

Не дав ему времени на ответ, она выпалила вдогонку:

– Хуже всего, что из-за тебя она попала в дурные руки!

– Она в руках Божьих, – ответил маркиз.

Дульче Оливия яростно взвизгнула:

– Она в руках епископского сынка, который ее растлил и обрюхатил!

– Смотри, не прикуси свой ядовитый язык! – в ужасе воскликнул маркиз.

– Сагунта – выдумщица, но не лгунья, – отрезала Дульче Оливия. – И не пытайся меня унизить, потому что больше некому напудрить тебе лицо после смерти.

Это был конец всему. Слезы Дульче Оливии падали в тарелку, как капли супа. Уснувшие собаки вскинулись при звуках ожесточенной перебранки и глухо зарычали, навострив чуткие уши. Маркиз почувствовал, что задыхается.

– Вот видишь, – сказал он в ярости, – так бы мы и жили.

Дульче Оливия встала, не доев, убрала со стола, и принялась мыть тарелки и кастрюли. Кипя от низменной злобы, она швыряла чистую посуду об раковину. Маркиз не мешал ей плакать, пока она собирала осколки фарфора и кидала их в ящик для мусора, будто обрушивая лавину града. Она ушла не прощаясь. Маркиз, да и никто другой, так и не узнал, в какой момент она перестала быть собой и превратилась в призрак, ночами бродящий по дому.

Слух, что Каэтано Делаура – сын епископа, сменил устаревшую сплетню, будто они любовники еще со времен Саламанки. Версия Дульче Оливии, подтвержденная и чудовищно приукрашенная Сагунтой, гласила, что Сиерву Марию заточили в монастырь, дабы утолить сатанинскую похоть Каэтано Делауры, от которого она зачала ребенка о двух головах. По словам Сагунты, они осквернили своими вакханалиями всю общину клариссинок.

Маркиз так и не оправился от этого удара. Увязнув в трясине прошлого, он искал убежище от своего страха и находил лишь Бернарду, облагороженную муками одиночества. Он пытался прогнать ее образ, вызывая в памяти все, что особенно в ней ненавидел: зловонные ветры, сварливые замечания, мозоли, похожие на петушиные шпоры, и чем больше он усердствовал, тем идеальнее она была в его воспоминаниях. Поддавшись ностальгии, маркиз на удачу послал несколько весточек на сахарную плантацию в Махатесе, справедливо полагая, что именно туда она отправилась, покинув особняк. В своих записках он убеждал ее не держать зла и вернуться домой, чтобы им обоим было, по крайней мере, с кем умереть. Не получив ответа, он сам отправился за ней.

Ему пришлось напрячь память, чтобы не сбиться с пути. Некогда богатейшее поместье вице-королевства пришло в полный упадок. Дорогу поглотил бурьян. Мельница лежала в руинах, механизмы разъела ржавчина, скелеты последних двух волов белели в упряжке, привязанной к колесу. Живой казалась только заводь вздохов в тени калебасовых деревьев. Не успели расступиться иссохшие стебли сахарного тростника,

открывая взгляду дом, как маркиз учуял аромат душистого мыла, заменивший Бернарде собственный запах, и понял, как отчаянно по ней соскучился. Она сидела на веранде в кресле-качалке и ела какао, устремив к горизонту неподвижный взор. На ней была розовая туника из хлопковой ткани, а волосы еще хранили влагу после купания в заводи вздохов.

– Добрый вечер, – поздоровался маркиз, прежде чем подняться по трем ступенькам на веранду. Бернарда ответила на приветствие, не посмотрев в его сторону, словно к ней обращалась пустота. Маркиз подошел к перилам и обвел глазами горизонт, глядя поверх буйной поросли. Не считая калебасовых деревьев у заводи, повсюду, насколько хватало зрения, он видел лишь сорный кустарник.

– Куда подевались все люди? – спросил он.

Бернарда, подобно своему отцу, не повернулась к нему и во второй раз.

– Все ушли. Здесь нет ни одной живой души на сотни лиг вокруг.

Он зашел в дом, чтобы взять стул. Здание разрушалось, и растения с мелкими пурпурными цветами пробивались сквозь щели в кирпичных стенах. В столовой он увидел старый стол, узнал стулья, изъеденные термитами, и часы, чьи стрелки уже невесть сколько лет показывали одно и то же время, все в облаке невидимой пыли, которую он глотал с каждым вздохом. Взяв себе стул, маркиз сел рядом с Бернардой и очень тихо произнес:

– Я пришел за тобой.

Выражение Бернарды не изменилось, однако она едва заметно кивнула. Маркиз живописал свое существование: безлюдный дом, рабы, крадущиеся вдоль изгороди с кинжалами наготове, бесконечные ночи.

– Это не жизнь, – сказал он.

– Ее и прежде не было, – ответила Бернарда.

– Быть может, еще не все потеряно.

– Ты бы так не говорил, если б знал, как я тебя ненавижу.

– Я всегда думал, что тоже ненавижу тебя, – сказал маркиз, – но сейчас я в этом не так уверен.

И тогда Бернарда раскрыла ему свою душу, чтобы он увидел ее изнанку при свете дня. Она рассказала, как отец подсылал ее с селедкой и маслинами, как они вдвоем провели маркиза, поймав его на старый трюк с гаданием по руке, как решили, что она возьмет его силой, раз он прикинулся невинным агнцем, и как в результате холодного, продуманного расчета она забеременела Сиервой Марией, чтобы захомутать его на всю жизнь. Маркиз был ей обязан лишь одним: Бернарда так и не осмелилась до конца осуществить отцовский план и подлить ему в суп настойку опия, чтобы избавить себя от его докучливого присутствия.

– Я сама сунула голову в петлю, но не жалею об этом, – сказала она. – Однако не стоило ожидать, что после всего, что было, я смогу полюбить несчастного заморыша или тебя – причину моих бед.

Впрочем, к окончательному падению ее подтолкнула гибель Иуды Искариота. Пытаясь найти его в других мужчинах, она предалась неуемному разврату с рабами на плантации, хотя прежде мысль об этом вызывала у нее отвращение – до первого раза. Набрав целый отряд работников, она выстраивала их в шеренгу и приходовала одного за другим прямо в поле, между зарослями сахарного тростника, пока хмельной мед и плитки какао не погубили ее прелести; она распухла и подурнела, и слугам изменяло мужество при виде ее раздутого тела. Тогда Бернарда начала платить за услуги. Сначала она оделяла побрякушками тех, что помоложе, в зависимости от внешности и размера, потом начала предлагать чистое золото любому, кто согласится. Когда она обнаружила, что рабы толпами бегут в Сан-Базилио-де-Паленке, спасаясь от ее ненасытного голода, было уже поздно.

– Тогда я подумала, что хорошо бы взять мачете и изрезать их всех на мелкие куски, – сказала она, не проронив ни слезинки, – а заодно тебя, девчонку, моего папашу-подлеца,

и всех, кто превратил мою жизнь в дерьмо. Но у меня уже не осталось сил, чтобы хоть кого-нибудь прикончить.

Они посидели в молчании, глядя, как над колючим кустарником спускается вечер. На горизонте шумело стадо, женский голос безутешно звал животных по имени, выкликая одного за другим, пока не стемнело. Маркиз вздохнул.

– Теперь я вижу, что ничем тебе не обязан.

Он неторопливо встал, поставил стул на место и ушел той же дорогой, что пришел, не попрощавшись и не взяв светильника. Два лета спустя на тропе, ведущей в никуда, нашли все, что от него осталось – скелет, расклеванный аурами.

Мартина Лаборде провела все утро за вышиванием, желая закончить работу, которая отняла больше времени, чем она рассчитывала. Она пообедала в келье Сиервы Марии и вернулась к себе на сиесту. Вечером, прокладывая последние стежки, она обратилась к девочке с непривычной печалью в голосе:

– Если ты когда-нибудь выйдешь из этой тюрьмы, или если я освобожусь первая, помни обо мне. Другой награды мне не нужно.

Сиерва Мария не понимала, в чем дело, пока на следующее утро ее не разбудили крики надзирательницы: Мартина бесследно исчезла. Монастырь перевернули вверх дном, но так ничего и не нашли, зато Сиерва Мария обнаружила у себя под подушкой записку и узнала витиеватый почерк Мартины: «Я буду молиться по три раза в день, чтобы вы с ним были очень счастливы».

Не успела она оправиться от изумления, как в келью вошла аббатиса в сопровождении наместницы и других почтенных сестер из своей личной гвардии, за ними следовал отряд стражников, вооруженных мушкетами. Гневно замахнувшись на Сиерву Марию, аббатиса крикнула:

– Ты понесешь наказание как соучастница!

Девочка подняла свободную руку с такой решимостью, что аббатиса замерла на месте.

– Я видела, как они уходят, – сказала Сиерва Мария.

Хосефа Миранда растерялась.

– Она была не одна?

– Их было шесть, – ответила девочка.

В это верилось с трудом; еще больше сомнений вызвала мысль, что беглянка покинула монастырь через террасу, с которой можно было попасть лишь во двор, обнесенный стеной.

– У них были крылья летучей мыши, – сказала Сиерва Мария, хлопая руками – На террасе они их расправили и понесли ее прочь, далеко-далеко, на другую сторону океана.

Капитан патруля боязливо перекрестился и рухнул на колени.

– Пречистая Дева Мария! – воскликнул он.

– Зачавшая без греха, – подхватили хором все остальные.

То был идеальный побег. Мартина продумала его до мельчайших подробностей и в полной тайне, узнав, что Каэтано проводит ночи в обители. Она допустила лишь одну ошибку, по неведению или из безразличия: забыла закрыть изнутри отверстие сточной трубы, чтобы не навлечь подозрений. Во время расследования правда выплыла наружу, подземный ход нашли и немедленно замуровали оба входа. Сиерву Марию силой перевели во флигель погребенных заживо и посадили под замок. Той же ночью, под ослепительной луной, Каэтано изодрал руки в кровь, ломясь в запечатанный тоннель.

На грани безумия он бросился к маркизу. Без стука распахнув входную дверь, он вошел в опустевший дом, где было так же светло, как на улице, потому что сияние луны отражалось от беленых стен, растворяя их в ночи. Внутри царил безупречный порядок: комнаты сверкали чистотой, мебель стояла на своих местах, в вазах благоухали цветы.

Скрип дверных петель встревожил мастифов, но Дульче Оливия усмирила их грозным окриком. В зеленоватой тени внутреннего двора Каэтано увидел прекрасную женщину в тунике маркизы. От Дульче Оливии исходило призрачное свечение, свежие камелии в ее волосах источали сумасшедший аромат. Каэтано воздел руку, скрестив большой и указательный пальцы, и спросил:

– Во имя Господа, кто ты?

– Душа, обреченная на муки, – ответила она. – А вы?

– Меня зовут Каэтано Делаура, – сказал он, – я пришел на коленях умолять сеньора маркиза, чтобы он уделил мне пару мгновений.

Дульче Оливия гневно сверкнула глазами.

– Сеньор маркиз не станет слушать всяких проходимцев.

– Кто вы такая, чтобы здесь распоряжаться?

– Я – королева этого дома.

– Во имя любви Господней, – сказал Каэтано, – передайте маркизу, что я хочу поговорить о его дочери. – Прижав руку к сердцу, он признался: – Я умираю от любви к ней.

– Еще одно слов, и я спущу собак! – в негодовании крикнула Дульче Оливия, указывая на дверь. – Вон отсюда!

Сила ее власти была такова, что Каэтано вышел из дома пятясь, так как боялся потерять ее из виду.

Во вторник, приехав в госпиталь, Абренуцио зашел в комнату к Делауре и обнаружил, что тот вконец изнурен беспрерывным бдением. Делаура рассказал ему обо всем – от истинных причин постигшей его кары до ночей любви в монастырской келье. Абренунцио лишился дара речи.

– Я ожидал от вас чего угодно, кроме подобных приступов безумия.

В свою очередь, пораженный его ответом, Каэтано спросил:

– Неужели с вами никогда такого не случалось?

– Никогда, сын мой, – сказал Абренуцио. – Плотская любовь – это талант, и я им не владею.

Он попытался разубедить Делауру, говоря, что любовь – противоестественное чувство, обрекающее двух незнакомых людей на постыдную и нездоровую зависимость, и чем оно сильнее, тем эфемернее. Но Каэтано не слышал его. Он был одержим стремлением сбежать как можно дальше от гнета христианского мира.

– Только маркиз может помочь нам примириться с законом, – твердил он. – Я хотел умолять его на коленях, но не застал дома.

– Не застанете и впредь, – сказал Абренунцио. – До него дошли слухи, что вы пытались обесчестить его дочь. Глядя на вещи с точки зрения христианина, я должен признать, что он не так уж ошибался.

Он заглянул Каэтано в глаза.

– Вы не боитесь, что вас предадут проклятию?

– Наверное, я уже проклят, но только не Святым Духом, – спокойно ответил Делаура. – Я всегда думал, что любовь для Него значит больше, чем вера.

Абренунцио не мог сдержать восхищения, которое вызывал в нем этот человек, столь недавно сбросивший оковы разума. Однако он не давал ложных обещаний, особенно когда неподалеку маячила тень Святой Инквизиции.

– Вы все исповедуете религию смерти, ее близость придает вам отваги и сулит блаженство, – сказал он. – А по мне так главное – оставаться в живых.

Каэтано помчался в монастырь. Средь бела дня он проник в обитель со служебного входа и без всякой предосторожности поспешил через сад, убежденный, что сила молитвы сделала его невидимым. Поднявшись на второй этаж, он миновал безлюдный коридор с низкими потолками, соединявший два крыла здания, и очутился в молчаливом, разреженном мире погребенных заживо. Сам того не подозревая, он прошел мимо кельи,

где плакала о нем Сиерва Мария, и уже был в паре шагов от тюремного флигеля, как вдруг за его спиной раздался крик:

– Стой!

Он обернулся и увидел монахиню с опущенным на лицо покрывалом и распятием в простертой к нему руке. Каэтано шагнул к ней, но монахиня выставила образ Христа перед собой и крикнула:

– Vade retro!

Сзади вторил другой голос:

– Vade retro!

И еще один, и еще:

– Vade retro!

Несколько раз повернувшись на одном месте, Каэтано оказался в центре круга: со всех сторон на него наступали монахини-призраки с закрытыми лицами, потрясая распятиями и крича:

– Vade retro, Satana!

Каэтано достиг предела своих сил. Он был передан в руки Святой Инквизиции и осужден на открытом процессе, где ему предъявили подозрения в ереси. Суд вызвал народные волнения и раскол в лоне церкви. В виде особой милости ему позволили отбывать приговор санитаром в госпитале Амор-де-Диос, где он прожил много лет бок о бок со своими больными, ел и спал вместе с ними на земляном полу, окунался в их корыта с грязной водой, но, вопреки заветным чаяниям, так и не заразился проказой.

Сиерва Мария напрасно ждала его. Через три дня она отказалась от еды в новом припадке буйства, который обострил симптомы одержимости. Епископ, сломленный падением Каэтано, загадочной смертью отца Аквино и общественными пересудами о злоключениях, против которых его ум и власть оказались бессильны, заново приступил к обряду экзорцизма с исступленной энергией, невероятной для его возраста и состояния здоровья. В этот раз Сиерва Мария, затянутая в смирительную рубашку и обритая наголо, встретила его с сатанинской яростью, голося на неведомых языках и подражая адским птицам. На второй день раздался трубный рев обезумевшего скота, земля задрожала, и не осталось никаких сомнений, что Сиерва Мария и правда во власти всех демонов ада. По возвращении в келью ей сделали клизму из святой воды по французскому методу, чтобы изгнать демонов, которые могли остаться в ее нутре.

Битва продолжалась еще три дня. Сиерва Мария, не евшая целую неделю, все же умудрилась выпростать ногу и дала епископу такого пинка в живот, что тот повалился наземь. Лишь тогда стало ясно: она сумела освободиться, поскольку так исхудала, что ремни уже не могли ее удержать. Разразился скандал, после которого следовало бы прекратить экзорцизм, как того желал церковный совет, но епископ упорствовал.

Сиерва Мария так и не узнала, что случилось с Каэтано Делаурой, и почему он пропал вместе со своей корзинкой лакомств из торговых рядов и ненасытными ночами. Двадцать девятого мая, утратив охоту жить дальше, она заснула и вновь увидела окно с видом на снежное поле, где не было Каэтано Делауры и куда он никогда не вернется. У нее на коленях лежала кисть золотого винограда, и на месте сорванных ягод тут же вырастали новые, только в этот раз она срывала их не по одной, а по две, задыхаясь от желания сорвать последнюю. Войдя в келью, чтобы подготовить Сиерву Марию к шестому по счету обряду экзорцизма, надзирательница увидела, что она умерла от любви. Ее глаза лучились, кожа разгладилась, как у новорожденной, а на бритой голове пробивалась пена стремительно растущих волос.